



О Л Д О С

ХАКСЛИ

КОНТРАПУНКТ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ классика (АСТ)

Олдос Хаксли
Контрапункт

«Издательство АСТ»

1928

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

Хаксли О. Л.

Контрапункт / О. Л. Хаксли — «Издательство АСТ»,
1928 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-085760-9

«Контрапункт» (1928 г.) – крупнейшее произведение Олдоса Хаксли, описывающее несколько месяцев из жизни интеллектуальной лондонской элиты. Здесь нет главных действующих лиц или основной сюжетной линии. Как и музыкальный контрапункт, предполагающий сочетание двух и более мелодических голосов, роман Хаксли – это переплетение разных судеб, рассказ о личной жизни множества людей, так или иначе попадающих в поле писательского зрения. Они встречаются в кафе и ресторанах, ходят на великосветские приемы, ссорятся, сплетничают, злословят. Во всем этом нет никакой цели – одна бессмысленная многоголосица. Так Хаксли смотрит на своих современников, а нынешний читатель наверняка услышит в этом хоре много знакомых голосов.

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

ISBN 978-5-17-085760-9

© Хаксли О. Л., 1928
© Издательство АСТ, 1928

Содержание

I	6
II	16
III	22
IV	27
V	37
VI	49
VII	57
VIII	65
IX	68
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Олдос Хаксли

Контрапункт

Aldous Huxley

POINT COUNTER POINT

Печатается с разрешения The Aldous and Laura Huxley Literary Trust, наследников автора и литературных агентств Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

© Aldous Huxley, 1928. Copyright renewed 1956 by Aldous Huxley

© Перевод. И. А. Романович, наследники, 2014

Олдос Хаксли (1894–1963) – знаменитый английский писатель, автор самой известной антиутопии XX века «О дивный новый мир», действие которой разворачивается в Лондоне далекого будущего. Над проблемой развития общества Хаксли размышлял всю жизнь – не случайно через 27 лет после выхода в свет романа он написал книгу «Возвращение в дивный новый мир», в которой пересмотрел многие свои прежние взгляды.

Все увлечения Хаксли в той или иной мере степени отражались в его произведениях: индийская философия, мистика, влияние на человека психотропных веществ.

Писатель даже участвовал в эксперименте по употреблению мексалина, обладающего галлюциногенными свойствами, и потом написал эссе о своих ощущениях – «Двери восприятия» (The Doors of Perception). Эссе имело большой успех в среде радикальной интеллигенции, а название рок-группы The Doors восходит именно к нему.

Произведения Олдоса Хаксли всегда поражали читателей своей глубиной, остротой и меткими наблюдениями, они не теряют своей актуальности и по-прежнему очень популярны во всем мире.

*О, как удел твой жалок, человек! —
Одним законом сотворен, в другой — закован:
Зачат в грехе — но презираешь грех,
Рожден больным — но тщешься быть здоровым!
И как Природа все смешала жутко —
Веленья страсти с прихотью рассудка!*

Фулк Гревилл

I

– Ты вернешься не поздно? – В голосе Марджори Карлинг слышалось беспокойство, слышалось что-то похожее на мольбу.

– Нет, не поздно, – сказал Уолтер, с огорчением и с чувством вины сознавая, что он лжет. Ее голос раздражал его. Она растягивала слова, у нее было слишком изысканное произношение, даже когда она волновалась.

– Не позже двенадцати. – Она могла бы напомнить ему о том времени, когда он ходил в гости с ней. Она могла бы это сделать, но она этого не сделала: это было против ее принципов, она не хотела навязывать свою любовь.

– Ну, скажем, в час. Ты сама знаешь, с этих вечеров раньше не уйдешь.

Но она этого не знала по той простой причине, что ее на эти вечера не приглашали, так как она не была законной женой Уолтера Бидлэйка. Она ушла к нему от мужа, а Карлинг был примерным христианином и, кроме того, немного садистом и поэтому отказывался дать ей развод. Уже два года они жили вместе. Всего два года; и он уже перестал любить ее, он полюбил другую. Грех потерял свое единственное оправдание, двусмысленное положение в обществе – свою единственную компенсацию. А она ждала ребенка.

– В половине первого, Уолтер, – умоляла она, отлично зная, что ее назойливость только раздражает его и заставляет его любить ее еще меньше. Но она не могла не говорить: ее любовь к нему была слишком сильной, ее ревность – слишком жгучей. Слова вырывались у нее сами собой, этому не могли помешать никакие принципы. Было бы лучше для нее, а может быть, и для Уолтера, если бы у нее было меньше принципов и если бы она была менее сдержанна в выражении своих чувств. Но с детства ее приучили владеть собой. По ее мнению, только невоспитанные люди «устраивают сцены». Умоляющее «в половине первого, Уолтер» было все, что могло пробиться сквозь ее принципы. Слишком слабый, чтобы тронуть Уолтера, этот взрыв чувств мог вызвать в нем только раздражение. Она это знала и все-таки не могла заставить себя молчать.

– Если мне удастся. – (Ну вот: готово. В его голосе слышалось раздражение.) – Но я не могу обещать, не жди меня. – Потому что, думал он (образ Люси Тэнтемаунт неотступно его преследовал), конечно, он не вернется в половине первого.

Он поправил белый галстук. В зеркале он увидел ее лицо рядом со своим. Бледное лицо и такое худое, что в тусклом свете электрической лампочки щеки казались ввалившимися от глубоких теней, отбрасываемых скулами. Вокруг глаз были темные круги. Ее прямой нос, даже в лучшие времена казавшийся слишком длинным, выступал над худым лицом. Она стала некрасивой, она выглядела утомленной и больной. Через шесть месяцев у нее родится ребенок. То, что было отдельной клеткой, группой клеток, кусочком тканей, чем-то вроде червя, потенциальной рыбой с жабрами, шевелилось внутри ее и готовилось стать человеком – взрослым человеком, страдающим и наслаждающимся, любящим и ненавидящим, мыслящим, знающим. То, что было студенистым комком внутри ее тела, придумает себе бога и будет поклоняться ему; то, что было чем-то вроде рыбы, будет творить и, сотворив, станет полем брани между добром и злом; то, что жило в ней бессознательной жизнью паразитического червя, будет смотреть на звезды, будет слушать музыку, будет читать стихи. Вещь станет индивидом, крошечный комок материи станет человеческим телом с человеческим сознанием. Поразительный процесс созидания происходил внутри ее; но Марджори ощущала только тошноту и усталость. Для нее вся эта тайна сводилась к тому, что она подурнела и находилась в постоянной тревоге за свое будущее; физическое недомогание, к которому прибавлялось нравственное беспокойство. Когда она впервые поняла, что беременна, она обрадовалась, несмотря на преследовавший ее страх неприятных последствий для ее тела и общественного положения. Она надеялась, что ребенок

вернет ей Уолтера, который уже тогда начал отходить от нее, ребенок возбудит в нем те чувства, которых не хватало его любви, чтобы быть полной. Она боялась физических страданий и неизбежных трудностей. Но ради того, чтобы усилить привязанность Уолтера, стоило пойти на все страдания, на все трудности. Несмотря ни на что, она была довольна. Сначала казалось, что ее надежды оправдались. Узнав, что она ожидает ребенка, он стал относиться к ней с большей нежностью. Две-три недели она была счастлива, она примирилась со страданиями и неудобствами. Но очень скоро все изменилось: Уолтер встретил ту женщину. В те часы, когда он не ухаживал за Люси, он старался быть как можно более заботливым, но она понимала, что за этой заботливостью скрывается недовольство, что он нежен и внимателен из чувства долга и что он ненавидит ребенка, который заставляет его считаться с матерью. Его ненависть к ребенку передалась и ей. Ощущение блаженства исчезло, остался только страх. Страдания и неудобства – вот что сулило ей будущее. А пока что – дурнота, усталость, физическое безобразие. Как может она в этом состоянии отстаивать свою любовь?

– Ты любишь меня, Уолтер? – вдруг спросила она.

Уолтер на мгновение перевел взгляд своих карих глаз с отражения галстука на отражение ее грустных серых глаз, напряженно смотревших на него. Он улыбнулся. «Если бы она только оставила меня в покое!» – подумал он. Он сжал губы и снова раздвинул их, имитируя поцелуй. Но Марджори не ответила ему улыбкой. Ее лицо осталось по-прежнему грустным и беспокойным. Ее глаза заблестели, и на ее ресницах неожиданно выступили слезы.

– А ты не остался бы сегодня вечером со мной? – попросила она, забывая о своем героическом решении никогда не взывать к его любви и не заставлять его делать ничего против воли.

Вид ее слез, звук ее взволнованного, упрекающего голоса наполнил Уолтера смешанным чувством злости, жалости и стыда.

«Неужели ты не понимаешь, – хотелось ему сказать, но у него не хватило мужества сказать это, – неужели ты не понимаешь, что теперь не так, как было прежде, что теперь не может быть так, как было прежде? А если говорить правду, прежде тоже никогда не было так: я только делал вид, но на самом деле я никогда не любил тебя по-настоящему. Будем друзьями, будем товарищами, мне приятно с тобой, я прекрасно отношусь к тебе. Но, Бога ради, не пичкай меня своей любовью, не насилуй меня. Если бы ты знала, как отвратительна чужая любовь, когда сам не любишь, каким насилием, каким оскорблением она кажется».

Но она плакала. Слезы катились по капле из-под опущенных век. Лицо дрожало и расплывалось в страдальческой гримасе. А он ее мучает. Он ненавидел себя. «Какое она имеет право шантажировать меня своими слезами?» При этом вопросе он сам начинал ненавидеть ее. Слеза катилась по ее длинному носу.

«Она не имеет права так поступать, не имеет права. Почему она не может вести себя разумно? Потому что она любит меня».

«Но я не хочу ее любви, не хочу. – Раздражение его усиливалось. – Она не имеет права так себя вести, во всяком случае, теперь. Это шантаж, – повторял он про себя, – шантаж. Какое она имеет право шантажировать меня своей любовью или тем, что я когда-то тоже любил ее! Да и любил ли я ее когда-нибудь?»

Марджори достала платок и принялась вытирать глаза. Ему было стыдно своих гнусных мыслей. Но причиной стыда была она: это была ее ошибка. Ей не следовало бросать мужа. Они отлично могли бы устроиться. Послеобеденные часы у него в мастерской. Это было бы так романтично.

«Но ведь я сам потребовал, чтобы она ушла от мужа».

«Но она должна была понять и отказаться. Она должна была понять, что моя любовь не может продолжаться вечно».

Но она поступила так, как хотел он: ради него она отказалась от всего, согласилась на двусмысленное положение в обществе. Тоже шантаж. Она шантажировала его своими жертвами. Он возмущался тем, что своими жертвами она взывала к его порядочности и чувству долга.

«Но если б *у нее* самой была порядочность и чувство долга, – думал он, – она не стала бы требовать их от меня».

Но она ждала ребенка.

«Неужели она не могла сделать так, чтобы его не было?»

Он ненавидел ребенка. Из-за этого ребенка он чувствовал себя еще более ответственным перед его матерью, еще более виноватым, когда причинял ей страдания. Он смотрел, как она вытирает мокрое от слез лицо. Беременность обезобразила и состарила ее. На что она вообще рассчитывала? Но нет, нет, нет! Уолтер закрыл глаза и сделал чуть заметное судорожное движение головой. Эту подлую мысль нужно раздавить, уничтожить.

«Как могут такие мысли приходить мне в голову?» – спросил он себя.

– Не уходи, – повторила она. Ее утонченный выговор, манера растягивать слова, высокий голос действовали ему на нервы. – Прощу тебя, не уходи, Уолтер!

В ее голосе слышалось рыдание. Снова шантаж. Господи, как мог он дойти до такой низости? И все-таки, несмотря на стыд, а может быть, даже благодаря ему, постыдное чувство все усиливалось. Отвращение к ней усиливалось, потому что он стыдился его; болезненное ощущение стыда и ненависти к самому себе, которое Марджори вызывала в нем, порождало, в свою очередь, отвращение. Негодование порождало стыд, а стыд, в свою очередь, усиливал негодование.

«О, почему она не может оставить меня в покое?» Он страстно, напряженно желал этого, тем более страстно, что сам он подавлял в себе это желание. (Ибо он не смел его проявить; он жалел ее, он хорошо относился к ней, несмотря ни на что; он не способен был на откровенную, неприкрытую жестокость – он был жесток только от слабости, против своей собственной воли.)

«Почему она не оставит меня в покое?» Он любил бы ее гораздо больше, если бы она оставила его в покое; и она сама была бы гораздо счастливей. Во много раз счастливей. Ей же было бы лучше... Тут ему вдруг стало ясно, что он лицемерит. «И все-таки, какого дьявола она не дает мне делать то, чего я хочу?»

Чего он хотел? Но хотел-то он Люси Тэнтемаунт. Он хотел ее вопреки рассудку, вопреки всем своим идеалам и принципам, неудержимо, вопреки своим собственным стремлениям, даже вопреки своему чувству, потому что он не любил Люси; мало того, он ненавидел ее. Благородная цель оправдывает постыдные средства. Ну а если цель постыдна, тогда как? Ради Люси он причинял страдания Марджори, которая его любила, которая все принесла ему в жертву, которая была несчастлива. Но и своим несчастьем она шантажировала его.

Одна часть его «я» присоединилась к ее мольбам и склоняла его к тому, чтобы не поехать на вечер и остаться дома. Но другая часть была сильнее. Он ответил ложью – наполовину ложью, в которой была лицемерно оправдывавшая его доля истины; это было хуже, чем неприкрытая ложь.

Он обнял ее за талию. Само это движение было ложью.

– Но, дорогая, – возразил он ласковым тоном взрослого, который уговаривает ребенка вести себя как следует, – мне необходимо быть там. Знаешь, там ведь будет отец. – Это была правда: старый Бидлэйк всегда присутствовал на вечерах у Тэнтемаунтов. – Мне необходимо переговорить с ним. О делах, – добавил он неопределенно и внушительно: эти магические слова должны были поставить между ним и Марджори дымовую завесу мужских интересов. Но, подумал он, ложь все равно просвечивает сквозь дым.

– А ты не мог бы встретиться с ним в другое время?

– Это очень важное дело, – ответил он, качая головой. – А кроме того, – добавил он, забывая, что несколько оправданий всегда менее убедительны, чем одно, – леди Эдвард спе-

циально для меня пригласила одного американского издателя. Он может оказаться полезным; ты знаешь, какие бешеные деньги они платят. Леди Эдвард сказала, что она с удовольствием пригласила бы издателя, но тот, кажется, уехал обратно в Америку. У них неслыханные гонорары, – продолжал он, сгущая дымовую завесу шутивными замечаниями. – Это единственная страна в мире, где писателям иногда переплачивают. – Он сделал попытку рассмеяться. – А не мешало бы, чтобы мне где-нибудь переплатили как возмещение за все эти бесчисленные заказы по две гиней за тысячу слов. – Он крепче сжал ее в объятиях, наклонился поцеловать ее. Но Марджори отвернулась. – Марджори, – умолял он, – не плачь. Не надо. – Он чувствовал себя виноватым и несчастным. Но, Господи, почему она не оставляет его в покое?

– Я не плачу, – ответила она. Щека, к которой он прикоснулся губами, была влажная и холодная.

– Марджори, если ты не хочешь, я не пойду.

– Я хочу, чтобы ты пошел, – ответила она, все еще не глядя на него.

– Ты не хочешь. Я останусь.

– Нет, не оставайся. – Марджори посмотрела на него и заставила себя улыбнуться. – Это просто глупо с моей стороны. Было бы нелепо не повидаться с отцом и с этим американцем.

В ее устах его собственные доводы казались ему бессмысленными и неправдоподобными. Он содрогнулся от отвращения.

– Подождут, – ответил он, и в его голосе прозвучала злоба. Он злился на самого себя за ложь (почему он не сказал ей всю правду, не скрывая, не прикрашивая? Она ведь все равно знала), и он злился на нее за то, что она напоминала ему о лжи. Ему хотелось, чтобы ложь была забыта, чтобы было так, словно он и не произносил ее никогда.

– Нет, нет, я требую. Это было глупо с моей стороны. Прости меня.

Теперь он сопротивлялся, отказывался уходить, просил разрешения остаться. Теперь, когда опасность миновала, он мог позволить себе поломаться. Потому что Марджори – это было ясно – твердо решила, что он должен идти. Ему представлялась возможность проявить благородство и принести жертву по дешевке, даже задарма. Какая гнусная комедия! Но он играл ее. В конце концов он согласился уйти, как будто этим он делал ей одолжение. Марджори надела ему на шею кашне, подала цилиндр и перчатки, поцеловала его на прощание, мужественно стараясь казаться веселой. У нее была своя гордость и свой кодекс любовной чести; и, несмотря на страдания, несмотря на ревность, она держалась за свои принципы: он *должен* быть свободным, она не имеет права вмешиваться в его жизнь. К тому же самое разумное – это не вмешиваться. По крайней мере ей казалось, что это самое разумное.

Уолтер закрыл за собой дверь и вышел в прохладную ночь. Преступник, бегущий от места преступления, бегущий от вида жертвы, бегущий от жалости и раскаяния, не чувствовал бы большего облегчения. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул: он свободен, он может не вспоминать о том, что было, не думать о том, что будет. Может в течение одного или двух часов жить так, словно нет ни прошлого, ни будущего. Может жить настоящей минутой и только там, где в эту минуту находится его тело. Свободен! Но это было пустое хвастовство: забыть он не мог. Бежать не так легко. Ее голос преследовал его. «Я требую, чтобы ты пошел». Его преступление было не только убийством, но еще и мошенничеством. «Я требую». Как благородно он отказывался! Как великодушно согласился под конец! Шулерство венчало собой жестокость.

– Господи! – сказал он почти вслух. – Как я мог? – Он чувствовал к самому себе отвращение, смешанное с удивлением. – Но зачем она не оставляет меня в покое! – продолжал он. – Почему она не ведет себя разумно? – Бессильная злоба снова охватила его.

Он вспомнил то время, когда он желал совершенно иного. Больше всего ему хотелось, чтобы она не оставляла его в покое. Он сам поощрял ее преданность. Он вспомнил коттедж, где они прожили несколько месяцев в полном уединении, среди голых меловых холмов. Какой вид на Беркшир! Но ближайшая деревня отстояла за полторы мили. Как тяжела была сумка с

провизией! Какая грязь, когда шел дождь! И воду приходилось таскать из колодца глубиной в добрых сто футов. Но даже тогда, когда он не был занят чем-нибудь утомительным, было ли ему хорошо? Был ли он когда-нибудь счастлив с Марджори – по крайней мере настолько счастлив, насколько должен был бы быть? Он ожидал, что это будет похоже на «Эпипсихидион», – это не было похоже, может быть, потому, что он слишком сознательно стремился к этому, слишком старался сделать свои чувства и свою жизнь с Марджори похожими на поэму Шелли.

– Искусство нельзя принимать слишком буквально. – Он вспомнил, что сказал муж его сестры, Филип Куорлз, когда они однажды вечером разговаривали о поэзии. – Особенно когда речь идет о любви.

– Даже если искусство правдиво? – спросил Уолтер.

– Оно может оказаться слишком правдивым. Без примесей. Как дистиллированная вода. Когда истина есть только истина и ничего больше, она противостоит естественности, она становится абстракцией, которой не соответствует ничто реальное. В природе к существенному всегда примешивается сколько-то несущественного. Искусство воздействует на нас именно благодаря тому, что оно очищено от всех несущественных мелочей подлинной жизни. Ни одна оргия не бывает такой захватывающей, как порнографический роман. У Пьера Луиса все девушки молоды и безупречно сложены; ничто не мешает наслаждаться: ни икота или дурной запах изо рта, ни усталость или скука, ни внезапное воспоминание о неоплаченном счете или о ненаписанном деловом письме. Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты – химически чисты, – добавил он со смехом, – а не моральные.

– Но «Эпипсихидион» – не порнография, – возразил Уолтер.

– Конечно, но он тоже химически чист. Вы помните этот сонет Шекспира:

Ее глаза на солнце не похожи,
Коралл краснее, чем ее уста,
Снег с грудью милой – не одно и то же,
Из черных проволок ее коса.
Есть много роз пунцовых, белых, красных,
Но я не вижу их в ее чертах.
Хоть благовоний много есть прекрасных,
Увы, но только не в ее устах.

И так далее. Он понимал поэзию слишком буквально, и это – реакция. Пусть это будет предупреждением для вас.

Разумеется, Филип был прав. Месяцы, проведенные в коттедже, не были похожи ни на «Эпипсихидион», ни на «Maison du berger»¹. Чего стоили хотя бы колодец и прогулки в деревню!.. Но даже если бы не было колодца и прогулок, даже если бы у него была одна Марджори без всяких примесей – стало ли бы от этого лучше? Вероятно, только хуже. Марджори без примесей была бы еще хуже, чем Марджори на фоне житейских мелочей.

Взять, например, ее утонченность, ее холодную добродетель, такую бескровную и одухотворенную; теоретически и на большом расстоянии он восхищался ими. Но практически, вблизи от себя? Он влюбился в ее добродетель, в ее утонченную, культурную, бескровную одухотворенность; а кроме того, она была несчастна: Карлинг был невыносим. Жалость превратила Уолтера в странствующего рыцаря. Ему казалось тогда (ему было в то время двадцать два года, он был чист страстной чистотой подростка, привыкшего сублимировать свои сексуальные стремления. Он только что окончил Оксфордский университет и был начинен стихами и сложными построениями философов и мистиков), ему казалось, что любовь – это разговоры,

¹ «Пастушеский дом» (фр.).

что любовь – это духовное общение. Такова истинная любовь. Сексуальная жизнь – это лишь одна из житейских мелочей, неизбежная, потому что человеческие существа, к сожалению, обладают телами; но считаться с ней нужно как можно меньше. Страстно чистый и привыкший претворять свою страстность в серафическую духовность, он восторгался утонченной и спокойной чистотой, которая у Марджори происходила от врожденной холодности и пониженной жизнеспособности.

– Вы такая хорошая, – говорил он, – вам это дается так легко. Мне хочется стать таким же хорошим, как вы.

Это желание было равносильно желанию стать полумертвым; но тогда он не осознавал этого. Под оболочкой робости, застенчивости и тонкой чувствительности в нем скрывалась страстная жажда жизни. Ему действительно стоило большого труда сделаться таким же хорошим, как Марджори. Но он старался. И он восторгался ее добротой и чистотой. И ее преданность трогала его – по крайней мере до тех пор, пока она не начала утомлять и раздражать его, – а ее обожание льстило ему.

Шагая к станции Чок-Фарм, он вдруг вспомнил рассказ отца о разговоре с каким-то шофером-итальянцем о любви. (У старика был особый дар вызывать людей на разговор, всяких людей, даже слуг, даже рабочих. Уолтер всегда завидовал ему в этом.) По теории шофера, некоторые женщины похожи на гардеробы. Sono come i cassetoni². С каким смаком старый Бидлэйк рассказывал этот анекдот! Они могут быть очень красивы; но какой толк – обнимать красивый гардероб? Какой в этом толк? (А Марджори, подумал Уолтер, даже не очень красива.) «Нет, уж лучше женщины другого сорта, – говорил шофер, – будь они трижды уроды. Вот моя девочка, – признался он, – та совсем другого сорта. E un frullino, proprio un frullino³ – настоящая взбивалочка для яиц». И старик подмигивал, как веселый порочный сатир. Чопорный гардероб или бойкая взбивалочка? Уолтер должен был признать, что у него такие же вкусы, как у шофера. Во всяком случае, он по личному опыту знал, что, когда «истинная любовь» снисходила до «мелочей» сексуальной жизни, ему не очень нравились женщины «гардеробного» сорта. Теоретически, на расстоянии, чистота и доброта и утонченная одухотворенность достойны восхищения. Но на практике, вблизи, они гораздо менее привлекательны. А когда женщина непривлекательна, ее преданность и лесть и обожание становятся невыносимыми. Не отдавая себе отчета, он одновременно ненавидел Марджори за ее терпеливую холодность великомученицы и презирал себя за свою животную чувственность. Его любовь к Люси была безудержной и бесстыдной, но Марджори была бескровна и безжизненна. Он одновременно оправдывал себя и осуждал. И все-таки больше осуждал. Его чувственные желания низменны; они неблагородны. Взбивалочка и комод – что может быть омерзительней и подлей подобной классификации? Мысленно он услышал сочный, чувственный смех отца. Ужасно! Вся сознательная жизнь Уолтера протекала под знаком борьбы с отцом, с его веселой, беспечной чувственностью. Сознательно он всегда был на стороне матери, на стороне чистоты, утонченности, на стороне духа. Но кровь его была по крайней мере наполовину отцовской. А теперь два года жизни с Марджори воспитали в нем активную ненависть к холодной добродетели. Он возненавидел добродетель, но одновременно стыдился своей ненависти, стыдился того, что он называл своими скотскими, чувственными желаниями, стыдился своей любви к Люси. Ах, если бы только Марджори оставила его в покое! Если бы она перестала требовать ответа на свою нежеланную любовь, которую она упорно навязывала ему! Если бы она перестала быть такой ужасающе преданной! Он мог бы остаться ее другом: ведь он прекрасно относится к ней за ее доброту, нежность, верность, преданность. Ему было бы очень приятно, если бы она платила ему за дружбу дружбой. Но ее любовь вызывала в нем тошноту. А когда она, воображая, что

² Они как гардеробы (*ит.*).

³ Она взбивалочка, настоящая взбивалочка (*ит.*).

борется с другими женщинами их же оружием, насильовала свою добродетельную холодность и пыталась вернуть его любовь страстными ласками, тогда она становилась просто ужасна.

А кроме того, продолжал размышлять Уолтер, ее тяжелая, лишенная тонкости серьезность просто скучна. Несмотря на всю свою культурность, а может быть, именно благодаря ей Марджори была туповата. Конечно, ей нельзя было отказать в культурности: она читала книги, она запоминала их. Но понимала ли она их? Была ли она способна их понять? Замечания, которыми она прерывала свои долгие-долгие молчания, культурные, серьезные замечания, – как тяжеловесны они были, как мало в них было юмора и подлинного понимания! С ее стороны было очень разумно, что она по большей части молчала. В молчании заключено столько же потенциальной мудрости и остроумия, сколько гениальных статуй – в неотесанной глыбе мрамора. Молчаливый не свидетельствует против себя. Марджори в совершенстве владела искусством сочувственного слушания. А когда она нарушала молчание, ее реплики состояли наполовину из цитат. У Марджори была прекрасная память и привычка заучивать наизусть глубокие мысли и пышные фразы. Уолтер не сразу обнаружил, что за ее молчанием и цитатами скрывается беспомощность мысли и тупость. А когда он обнаружил, было слишком поздно.

Он подумал о Карлинге. Пьяница и верующий. Вечно твердящий о церковных одеяниях, о святых и непорочном зачатии – а сам мерзкий пьяный извращенец. Не будь он так отвратителен, не будь Марджори так несчастна – что тогда? Уолтер представил себя свободным. Он не пожалел бы, он не полюбил бы. Он вспомнил красные распухшие глаза Марджори после одной из тех отвратительных сцен, которые ей устраивал Карлинг. Грязная скотина!

«Ну, а я-то кто?» – подумал он.

Он знал, что, как только за ним закрылась дверь, Марджори дала волю слезам. У Карлинга было хоть то оправдание, что он пил. Прости им, ибо не ведают, что творят. Но сам он был всегда трезв. Он знал, что сейчас Марджори плачет.

«Я должен вернуться», – сказал он себе. Но вместо этого он ускорил шаги, он почти побежал вперед. Это было бегство от своей совести и в то же время неудержимое стремление навстречу желанию.

«Я должен вернуться, я должен вернуться».

Он торопливо шел дальше, ненавидя ее за то, что причинял ей боль.

Когда он проходил мимо табачной лавки, человек, стоявший у витрины, неожиданно сделал шаг назад. Уолтер со всего размаха налетел на него.

– Простите, – машинально сказал он и, не оглядываясь, пошел дальше.

– Чего толкаетесь? – услышал он позади себя злобный окрик. – Надо смотреть, куда идешь. С цепи сорвался, что ли?

Двое уличных мальчишек поддержали его яростным улюлюканьем.

– А тоже, в цилиндре! – продолжал обиженный с презрительной ненавистью к джентльмену в полном параде.

Следовало бы обернуться и дать сдачи этому типу. Его отец уничтожил бы его одним словом. Но Уолтер умел только спасаться бегством. Он побаивался таких столкновений и предпочитал не связываться с «низами». Ругань потерялась в отдалении.

Какая гадость! Его передернуло. Мысли вернулись к Марджори.

«Почему она не может вести себя разумно? – говорил он себе. – Просто разумно. Если бы у нее было хоть какое-нибудь дело, что-нибудь такое, что занимало бы ее!»

Все несчастье Марджори в том, что у нее слишком много свободного времени. Ей не о чем думать, кроме как о нем. Но ведь в этом виноват он сам: он сам отнял у нее все занятия и лишил ее возможности думать о чем бы то ни было, кроме него. Когда он познакомился с ней, она состояла членом артели художественного труда – одной из чрезвычайно приличных любительских художественных мастерских в Кенсингтоне. Абажуры и общество разрисовывавших абажуры молодых женщин и – самое главное – обожание, которым они окружали миссис Коль,

председательницу артели, утешали Марджори в ее несчастном замужестве. Она создала свой собственный мирок, независимый от Карлинга, – женский мирок, чем-то похожий на пансион для девиц, где можно было болтать о платьях и магазинах, сплетничать, «обожать» миссис Коль, как школьницы обожают начальницу, и, кроме всего прочего, воображать, будто делаешь нужное дело и содействуешь процветанию Искусства.

Уолтер убедил ее бросить все это. Ему это удалось не сразу. Девическое «обожание» и преданность миссис Коль скрашивали ее несчастную жизнь с Карлингом. Но Карлинг становился все хуже, так что совместную жизнь с ним не могла скрасить даже миссис Коль. Уолтер предложил то, чего, вероятно, не могла и безусловно не собиралась предлагать эта леди, – убежище, защиту, денежную поддержку. Кроме того, Уолтер был мужчина, а мужчину, согласно традиции, полагается любить, даже в том случае, если, как установил Уолтер относительно Марджори, женщина не любит мужчин и находит удовольствие только в обществе женщин. (Снова влияние литературы! Он вспомнил слова Филипа Куорлза о губительном воздействии искусства на жизнь.) Да, он мужчина: но «не такой», как все мужчины, неустанно повторяла Марджори. Тогда эта характеристика казалась ему лестной. Но была ли она и в самом деле лестной? Как бы то ни было, Марджори считала его «не таким» и находила, что в нем сочетаются достоинства обоих полов: он мужчина и в то же время не мужчина. Поддавшись убеждениям Уолтера и будучи не в силах больше выносить грубость Карлинга, она согласилась отказаться от мастерской, а значит, и от миссис Коль, которую Уолтер ненавидел, считая ее рабовладелицей, грубым и жестоким воплощением женской властности.

– Разве это дело для такой женщины, как ты, быть мебельщиком-любителем? – говорил он ей: в те времена он искренне верил в ее интеллектуальные способности.

Она станет помогать ему (как именно – это не уточнялось) в его литературной работе, она будет писать сама. Под его влиянием она принялась писать этюды и рассказы. Но они явно никуда не годились. Сначала он поощрял ее, потом стал относиться к ее писаниям сдержанно и перестал говорить о них. Вскоре Марджори бросила это противоестественное и бесполезное занятие. У нее не осталось ничего, кроме Уолтера. Он сделался краеугольным камнем, на котором покоилась вся ее жизнь. Теперь этот камень вынимали из постройки.

«Если бы только, – думал Уолтер, – она оставила меня в покое!»

Он подошел к станции метрополитена. У входа человек продавал вечернюю газету. *Грабительский законопроект социалистов. Первое чтение* – гласил бросавшийся в глаза заголовок. Уолтер воспользовался предложением отвлечься от своих мыслей и купил газету. Законопроект либерально-лейбористского правительства о национализации рудников получил при первом чтении обычное большинство голосов. Уолтер с удовольствием прочел об этом. По своим политическим убеждениям он был радикалом. Но издатель вечерней газеты рассуждал иначе. Передовая была написана в самых свирепых тонах.

«Сволочи», – подумал Уолтер. Статья пробудила в нем сочувствие ко всему, на что она нападала; он с радостью почувствовал, что ненавидит капиталистов и реакционеров. Ограда, в которую он замкнулся, на мгновение разрушилась, личные осложнения перестали существовать. Радость борьбы вывела его из узких рамок собственного «я», он как бы перерос самого себя, стал больше и проще.

«Сволочи», – мысленно повторил он, думая об угнетателях, о монополистах.

На станции Кэмден-Таун рядом с ним уселся маленький, сморщенный человечек с красным платком на шее. Его трубка распространяла такое удушающее зловоние, что Уолтер оглядел вагон в поисках другого свободного места. Места были; но, подумав, он решил не пересаживаться. Это могло обидеть курильщика, могло вызвать с его стороны какое-нибудь замечание.

Едкий дым раздражал горло – Уолтер закашлялся.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям, – не раз говорил Филип Куорлз. – Какой толк от философии, если ее основной предпосылкой не является разумное

обоснование наших собственных чувств? Если вы не испытываете религиозных переживаний, верить в Бога – нелепость. Это все равно как верить в то, что устрицы вкусны, тогда как вас самого от них с души воротит».

Затхлый запах пота, смешанный с табачным дымом, достиг ноздрей Уолтера. «Социалисты называют это национализацией, – читал он в газете, – но, с точки зрения всех остальных, у этого мероприятия есть другое, более короткое и выразительное имя: «грабеж». Ну что ж: грабеж грабителей ради блага ограбленных. Маленький человечек наклонился вперед и очень аккуратно плюнул между расставленных ног. Каблуком он размазал плевок по полу. Уолтер отвернулся; ему очень хотелось почувствовать любовь к угнетенным и ненависть к угнетателям. «Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям». Но вкусы и наклонности возникают случайно. Существуют вечные принципы. А если вечные принципы не совпадают с вашей основной предпосылкой?

Воспоминание всплыло неожиданно. Ему девять лет, и он гуляет с матерью по полям около Гаттендена. У обоих – букеты баранчиков. Должно быть, они ходили к Бэттс-Корнер: это – единственное место в окрестностях, где растут баранчики.

– Мы зайдем на минутку к бедному Уэзерингтону, – сказала мать. – Он очень болен. – Она постучала в дверь коттеджа.

Уэзерингтон служил младшим садовником в усадьбе; но последний месяц он не работал. Уолтер помнил его: бледный, худой человек, страдающий кашлем, необщительный. Уэзерингтон не очень интересовал его. Женщина открыла дверь.

– Добрый день, миссис Уэзерингтон.

Их ввели в комнату.

Уэзерингтон лежал в постели, обложенный подушками. У него было ужасное лицо. Пара огромных глаз с расширенными зрачками смотрела из впалых глазниц. Белая и липкая от пота кожа обтягивала торчащие кости. Но еще более тягостное впечатление производила шея, невероятно худая шея. А из рукавов рубашки торчали две узловатые палки – его руки, оканчивающиеся, точно грабли, огромными костлявыми пальцами. А запах в комнате больного! Окна были плотно закрыты, в маленьком камине горел огонь. Душный воздух был насыщен затхлым запахом дыхания и испарений больного тела – застарелым запахом, сладковатым и тошнотворным от долгого пребывания в этой теплой, непроветренной комнате. Какой-нибудь новый запах, даже самый отвратительный и зловонный, был бы менее ужасен. Этот запах комнаты больного был особенно невыносим именно потому, что он был застарелым, сладковато-гнилым, застоявшимся. Даже теперь Уолтер вздрогнул при одной мысли о нем. Он зажег папиросу, чтобы дезинфицировать свою память. Его с детства приучали к ежедневным ваннам и открытым окнам. Когда его еще ребенком в первый раз повели в церковь, его затошнило от затхлого воздуха, от запаха человеческих тел; пришлось его поскорей увести. С тех пор мать больше не водила его в церковь. Наверное, подумал он, нас воспитывают слишком гигиенично и асептично. Можно ли считать хорошим воспитание, в результате которого человека тошнит в обществе себе подобных? Он хотел бы любить их. Но любовь не может расцвести в атмосфере, вызывающей у человека непроизвольное отвращение и тошноту.

В комнате больного Уэзерингтона даже жалости расцвести было трудно. Он сидел там, пока его мать разговаривала с умирающим и его женой, смотрел, словно загипнотизированный, с ужасом на мертвенно-бледный скелет в постели и вдыхал сквозь букет баранчиков теплый тошнотворный воздух. Даже сквозь свежий, чудесный аромат баранчиков проникал затхлый запах комнаты больного. Он ощущал не жалость, а ужас и отвращение. И даже тогда, когда миссис Уэзерингтон заплакала, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы от больного, он почувствовал не жалость, а только неловкость и стеснение. Зрелище ее горя только усиливало в нем желание уйти, выбежать из этой ужасной комнаты на безгранично чистый воздух и на солнечный свет.

Ему стало стыдно при воспоминании о тогдашних своих чувствах. Но так он чувствовал тогда, и так он чувствует теперь.

«Не следует идти наперекор своим наклонностям». Нет, не всем, не дурным: им необходимо сопротивляться. Но преодолеть их нелегко. Старик рядом с ним снова зажег трубку. Уолтер вспомнил, что он как можно дольше задерживал дыхание, стараясь как можно реже вдыхать зараженный воздух. Глубокий вдох через букет баранчиков; потом сосчитать до сорока, выдохнуть и снова вдохнуть. Старик опять наклонился вперед и плюнул. «Было бы глубоко ошибочно предполагать, что национализация повысит благосостояние рабочих. За последние несколько лет налогоплательщики на своем горьком опыте убедились, что значит бюрократический контроль. Если рабочие воображают...»

Он закрыл глаза и увидел комнату больного. Когда настало время прощаться, он пожал костлявую руку. Она лежала неподвижно поверх одеяла; он подсунул свои пальцы под мертвенные и костлявые пальцы больного, на мгновение поднял его руку и снова опустил ее. Она была холодная и влажная. Отвернувшись, он потихоньку вытер ладонь о курточку. Он с силой выпустил долго задерживаемое дыхание и снова вдохнул тошнотворный воздух. Это был последний вдох: его мать уже направлялась к выходу. Ее маленький китайский мопсик с лаем прыгал вокруг нее.

– Перестань, Т'анг! – сказала она своим ясным, красивым голосом.

«Вероятно, – думал Уолтер, – она была единственным человеком в Англии, который правильно произносил апостроф в имени Т'анг».

Они возвращались домой по тропинке среди полей. Фантастический и нелепый, словно маленький китайский дракон, Т'анг бежал впереди, с легкостью перепрыгивая через препятствия, казавшиеся ему огромными. Его перистый хвост развевался по ветру. Иногда, когда трава была очень высокая, он усаживался на маленький плоский зад, словно прося сахару, и смотрел круглыми выпуклыми глазами на травинки, как будто измеряя их высоту.

Под солнечным небом, запятнанным белыми облаками, Уолтер почувствовал себя так, точно его выпустили из тюрьмы. Он бежал, он кричал. Его мать шла медленно, не говоря ни слова. Иногда она на мгновение останавливалась и закрывала глаза. Она всегда так делала, когда была взволнована. Она часто бывала взволнована, подумал Уолтер, слегка улыбаясь про себя. Бедный Уэзерингтон, вероятно, сильно взволновал ее. Он вспомнил, как часто она останавливалась по дороге домой.

– Идем скорей, мама! – нетерпеливо кричал он. – Мы опоздаем к чаю.

Кухарка испекла к чаю лепешки, а кроме того, был вчерашний пирог со сливами и только что начатая банка вишневого джема.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям». Но его вкусы и наклонности определялись случайностями его рождения. Существует вечная справедливость; милосердие и братская любовь прекрасны, несмотря на вонючую трубку старика и ужасную комнату Уэзерингтона. Прекрасны, может быть, именно благодаря им. Поезд остановился. Лестер-сквер. Он вышел на платформу и направился к лифту. Но, подумал он, ваша собственная основная предпосылка – от нее не отвертеться; а если это не ваша собственная предпосылка, поверить в нее трудно, как бы хороша она ни была. Честь, верность – это все прекрасно. Но основная предпосылка его теперешней философии – это то, что Люси Тэнтемаунт – самое прекрасное, самое желанное...

– Предъявите билеты!

Внутренний спор грозил возобновиться. Он сознательно прекратил его. Лифтер захлопнул дверцу. Лифт поднялся. На улице Уолтер подождал такси.

– Тэнтемаунт-Хаус, Пэлл-Мэлл.

II

Три призрака Италии беспрепятственно пребывают в восточной части Пэлл-Мэлл. Богатства только что индустриализованной Англии и энтузиазм и архитектурный гений Чарлза Барри вызвали их из солнечного прошлого. Под копотью, покрывающей Клуб реформ, глаз знатока различает нечто, отдаленно напоминающее дворец Фарнезе. Немного дальше в туманном лондонском воздухе возвышается воспоминание сэра Чарлза о доме, построенном по проекту Рафаэля для Пандольфини: Клуб путешественников. А между ними подымается уменьшенная (и все-таки огромная) копия Канцеллерии, строго классическая, мрачная, как тюрьма, и черная от копоти. Это – Тэнтемаунт-Хаус.

Барри спроектировал его в 1839 году. Сотни рабочих года два трудились над ним. Счета оплачивал третий маркиз. Счета были крупные, но пригороды Лидса и Шеффилда начали распространяться по землям, которые его предки отняли у монастырей триста лет назад. «Католическая церковь, вдохновленная Духом Святым, учит, основываясь на Священном писании и заветах отцов церкви, что существует чистилище и что души, пребывающие в нем, спасаются молитвами верующих и в особенности жертвами, приносимыми на алтарь церкви». Богатые люди с нечистой совестью жаловали монахам земли, чтобы их души быстрее миновали чистилище с помощью непрестанно приносимых на алтарь жертв. Но Генрих VIII вспылал страстью к одной молоденькой женщине и захотел иметь от нее сына; а папа Климент VII, находившийся во власти двоюродного племянника первой жены Генриха, отказался дать ему развод. В результате были закрыты все монастыри. Тысячи нищих и калек умерли голодной смертью, но зато Тэнтемаунтам досталось несколько десятков квадратных миль пахотных земель, лесов и пастбищ. Позднее, при Эдуарде VI, они присвоили собственность двух уничтоженных школ латинской грамматики, дети остались без образования ради того, чтобы Тэнтемаунты могли стать еще богаче. Они с большой тщательностью обрабатывали землю, стараясь извлечь из нее максимум прибыли. Современники смотрели на них как на «людей, которые живут так, словно нет Бога, людей, которые хотят забрать все в свои руки, людей, которые ничего не оставляют другим, людей, которые не довольствуются ничем». С кафедры собора Святого Павла Левер заклеил их за то, что они «богохульствуют и разрушают благосостояние народа». Но Тэнтемаунты не обращали внимания. Земля принадлежала им, деньги поступали регулярно.

Поля засеивались пшеницей; она созревала, ее убирали снова и снова. Быки рождались, откармливались и отправлялись на бойню. Землепашцы и пастухи работали от зари до зари, год за годом, до самой смерти. Тогда на их место вставали их дети. Тэнтемаунт наследовал Тэнтемаунту. Елизавета сделала их баронами; при Карле II они стали виконтами, в царствование Вильгельма и Мэри – графами, при Георге II – маркизами. Все они женились на богатых наследниках: десять квадратных миль земли в Ноттингемшире, пятьдесят тысяч фунтов, две улицы в Блумсбери, пивоваренный завод, банк, плантация и шестьсот рабов на Ямайке. А тем временем безымянные люди изобретали машины, которые делали вещи быстрее, чем их можно было сделать руками. Деревни превращались в городишки, городишки – в большие города. На пахотных землях и пастбищах Тэнтемаунтов вырастали дома и фабрики. Под травянистым покровом их лугов полуголые люди врубались в черный блестящий каменный уголь. Женщины и дети подвозили тяжело нагруженные вагонетки. Из Перу везли на кораблях помет десятков тысяч поколений морских чаек, чтобы удобрить им поля. Урожай увеличивался: можно было накормить больше людей. И год за годом Тэнтемаунты богатели и богатели, а души набожных современников Черного Принца, которым больше не помогали жертвы, принесенные некогда на алтарь церкви, продолжали страдать в неутолимом огне чистилища. Деньги, которые, будучи применены должным образом, могли укоротить срок их пребывания в вечном огне, послужили, между прочим, и для того, чтобы вызвать к жизни на Пэлл-Мэлл копию папской Канцеллерии.

Внутренность Тэнтемаунт-Хауса была столь же благородно римской, как его фасад. Два яруса открытых арок окружали внутренний двор; над ними находились антресоли с маленькими квадратными окошками. Но внутренний двор не был открытым сверху: его покрывала стеклянная крыша, которая превращала его в огромный зал высотой во всю постройку. Благодаря аркам и галерее он выглядел очень величественно; но он был слишком велик, слишком похож на бассейн для плавания или на скэтинг-ринг – жить в нем было неудобно.

Сегодня, однако, он оправдывал свое существование. Леди Эдвард Тэнтемаунт устраивала музыкальный вечер. Внизу сидели гости, а над ними, в архитектурно оформленной пустоте, сложно пульсировала музыка.

– Что за пантомима! – обратился к хозяйке дома старый Джон Бидлэйк. – Хильда, дорогая, вы только посмотрите!

– Ш-ш! – запротестовала леди Эдвард, закрывая лицо веером из перьев. – Не мешайте слушать музыку. Кроме того, я и так вижу.

В ее шепоте слышался колониальный акцент, и букву «р» она произносила на французский лад: леди Эдвард родилась в Монреале, и ее мать была француженкой. В 1897 году съезд Британской Ассоциации проходил в Канаде. Лорд Эдвард Тэнтемаунт прочел в биологической секции доклад, вызвавший всеобщее восхищение. Профессора называли его «восходящим светилом». Но для всех остальных быть Тэнтемаунтом и миллионером означало «светило, уже достигшее своего зенита». Этого мнения придерживалась и Хильда Саттон. Лорд Эдвард остановился в Монреале у отца Хильды. Она использовала предоставившуюся ей возможность. Британская Ассоциация отбыла на родину, но лорд Эдвард остался в Канаде.

– Поверьте мне, – призналась однажды Хильда одной из своих подруг, – ни до этого, ни после я никогда до такой степени не интересовалась осмосом.

Интерес к осмосу привлек внимание лорда Эдварда к Хильде. Он заметил то, чего раньше не замечал, а именно: Хильда очень хороша собой. Хильда вела игру по всем правилам. Задача была не из трудных: к сорока годам лорд Эдвард оставался ребенком во всем, что не касалось интеллекта. В лаборатории и за письменным столом он был стар, как сама наука. Но чувства, восприятия и инстинкты оставались у него младенческими. Значительная часть его духовного «я» не развилась за отсутствием практики. Он был ребенком, но его ребяческие привычки стали к сорока годам неискоренимыми. Хильда помогала ему преодолевать неловкость и застенчивость двенадцатилетнего мальчика, а когда страх мешал ему ухаживать за ней должным образом, она сама шла ему навстречу. Его страсть была мальчишеской – одновременно бурной и робкой, отчаянной и немой. Хильда говорила за обоих и вела себя смело, но осторожно. Осторожно – потому что взгляды лорда Эдварда на то, как должны вести себя молодые девушки, сформировались преимущественно под влиянием «Записок Пиквикского клуба». Неприкрытая смелость могла испугать, могла оттолкнуть его. Хильда соблюдала весь диккенсовский этикет, но вместе с тем ухитрилась провести все ухаживание, создать все возможности и направить разговоры в надлежащее русло. Она была вознаграждена: весной 1898 года она стала леди Эдвард Тэнтемаунт.

– Да право же, – с сердцем сказала она однажды Джону Бидлэйку, когда тот издевался над бедным Эдвардом, – я в самом деле очень люблю его!

– По-своему, может быть, – насмешливо сказал Бидлэйк. – По-своему. К счастью, не все любят так. Посмотри-ка в зеркало.

Она посмотрела и увидела отражение своего обнаженного тела, растянувшегося среди подушек на диване.

– Животное! – сказала она. – Но это вовсе не мешает мне любить его.

– Да, конечно, по-своему ты очень любишь его. – Он засмеялся. – И все-таки, какое счастье, что не все...

Она закрыла ему рот рукой. Это было четверть века тому назад. Хильда была замужем пять лет; ей было тридцать. Люси была четырехлетним ребенком. Джон Бидлэйку исполнилось сорок семь, и он был в расцвете сил и в зените своей славы как художник, он умел смеяться, умел работать, умел есть, пить и лишать невинности.

– Живопись – одна из форм чувственности, – отвечал он тем, кто осуждал его образ жизни. – Написать обнаженное тело может только тот, кто подробно изучил его руками, губами и всем телом. Я серьезно отношусь к искусству. Поэтому я не жалею сил на подготовительные занятия. – И кожа вокруг его монокля покрывалась морщинами смеха, а глаза лукавого сатира подмигивали.

Хильде Джон Бидлэйк принес откровение ее собственного тела, ее физических возможностей. Лорд Эдвард был ребенком, ископаемым младенцем в облике солидного пожилого мужчины. Интеллектуально, в лаборатории, он понимал явления пола. Но в жизни, по эмоциям, он оставался ребенком, ископаемым младенцем викторианской эпохи, в неприкосновенности сохранившим детскую робость и все запреты, внушенные двумя нежно любимыми и добродетельными незамужними тетками, у которых он воспитывался после смерти своей матери, все удивительные принципы и предрассудки, приобретенные тогда, когда он впервые восторгался шутками м-ра Пиквика и Микобера. Он любил свою молодую жену любовью ископаемого младенца шестидесятых годов – робко и словно извиняясь: извиняясь за свою страсть, извиняясь за свое тело, извиняясь за ее тело. Конечно, его извинения были не столь многословны, потому что от застенчивости ископаемое дитя становилось немым: они состояли в том, что он молчаливо отрицал участие их тел в проявлениях страсти, за которой к тому же отрицалось право на существование. Его любовь была сплошным бессловесным извинением, а потому не имела оправданий. Оправдание любви – в духовной и телесной близости, в теплоте, в наслаждении, которые она порождает. Если она нуждается в оправданиях извне, значит, она не имеет оправданий. Джон Бидлэйк не оправдывался за свою любовь: она полностью оправдывала самое себя. Чувственный здоровяк, он любил прямо и честно, с хорошим животным аппетитом сына природы.

– Не воображайте, пожалуйста, что я стану говорить о звездах и девственных лилиях и космосе, – говорил он, – это не по моей части. Я не верю в них. Я верю в... – И тут он переходил на язык, по каким-то таинственным причинам считающийся непечатным.

Это была любовь без претензий, но теплая, естественная, а следовательно – хорошая; это была честная, добродушная, блаженная чувственность. Для Хильды, знавшей раньше только стыдливую, извиняющуюся любовь ископаемого младенца, она была откровением. Она пробудила в ней умершие было чувства. Она с восторгом нашла самое себя. Но восторг ее не переходил границ. Она никогда не теряла голову. Потеряв голову, она вместе с тем потеряла бы Тэнтамаунт-Хаус, миллионы Тэнтамаунта и титул Тэнтамаунта. Она вовсе не собиралась терять все это. Поэтому голова ее оставалась трезвой и рассудительной среди самых бурных восторгов, как скала среди бурного моря. Наслаждаясь, она никогда не наносила этим ущерба своему положению в обществе. Благодаря трезвой голове и желанию сохранить себе положение в обществе она никогда не теряла способности смотреть со стороны на свои самые бурные восторги. Джон Бидлэйк одобрял ее умение совместить несовместимое.

– Благодарение Богу, Хильда, – часто говорил он, – ты – разумная женщина.

На собственном горьком опыте он испытал, как утомительны женщины, считающие, что ради любви можно пожертвовать всем на свете. Ему нравились женщины, любовь была необходимым удовольствием. Но ни одна женщина не стоила того, чтобы ради нее запутывать и портить себе жизнь. К безрассудным женщинам, принимающим любовь чересчур всерьез, Джон Бидлэйк относился беспощадно. Против их лозунга «Все за любовь» он выставлял свой: «Дайте мне жить спокойно». Он всегда оставался победителем. В борьбе за спокойную жизнь он не знал жалости и не знал страха.

Хильда Тэнтемаунт стремилась к спокойной жизни не меньше, чем Джон. Их связь продолжалась несколько лет, а потом кончилась незаметно для них самих. Они остались добрыми друзьями или заговорщиками, как их называли, злонамеренными заговорщиками, вступающими в союз, чтобы вместе позабавиться на чужой счет.

Сейчас они смеялись. Вернее, смеялся Джон, не терпевший музыки. Леди Эдвард пыталась сохранить декорум.

– Замолчите же наконец, – прошептала она.

– Да вы только посмотрите, до чего это комично, – настаивал Бидлэйк.

– Ш-ш...

– Но я говорю шепотом. – Ему надоело это бесконечное шиканье.

– Да, как лев.

– Ничего не поделаешь, – раздраженно ответил он. Когда он говорил шепотом, он считал, что никто, кроме собеседника, не должен его слышать. Он сердился, когда ему говорили, что то, что он считал верным, на самом деле неверно. – Лев! Подумать только! – возмущенно пробормотал он. Но его лицо сейчас же прояснилось. – Смотрите, – сказал он, – вот еще одна опоздавшая. На сколько спорим, что она сделает то же, что все остальные?

– Ш-ш... – повторила леди Эдвард.

Но Джон Бидлэйк не обращал на нее внимания. Он смотрел в сторону двери, где стояла последняя из опоздавших. Желание незаметно скрыться в молчаливой толпе боролось в ней с долгом гостии сообщить хозяйке дома о своем приходе. Она растерянно смотрела по сторонам. Леди Эдвард приветствовала ее через головы гостей взмахом веера и улыбкой. Опоздавшая ответила ей улыбкой, послала воздушный поцелуй, приложила палец к губам, показала на свободное место в другом конце зала и распростерла руки, выражая этим жестом, что она извиняется за опоздание и сожалеет, что при сложившихся обстоятельствах ей нельзя подойти и поговорить с леди Эдвард; затем, втянув голову в плечи, сжавшись в комок и словно стараясь занимать как можно меньше пространства, она очень осторожно, на цыпочках, направилась к свободному месту.

Бидлэйк веселился от всей души. Он передразнивал все жесты бедной дамы. Он с подчеркнутым жаром ответил ей на воздушный поцелуй, а когда она приложила палец к губам, он закрыл рот всей пятерней. Жест, выражавший сожаление, стал в его гротескно-преувеличенной передаче жестом смехотворного отчаяния. А когда она на цыпочках пошла между рядами, он принялся хлопать себя по лбу и считать по пальцам, как делают в Неаполе, чтобы отвести дурной глаз. Он с торжеством обернулся к леди Эдвард.

– Я вам говорил, – прошептал он, и его лицо покрылось морщинами от сдерживаемого смеха. – Можно подумать, что находишься в санатории для глухонемых или разговариваешь с пигмеями в Центральной Африке. – Он открыл рот и показал пальцем, он сделал вид, что пьет из стакана. – Мой хочет есть, – сказал он. – Мой очень хочет пить.

Леди Эдвард ударила его веером.

Тем временем музыканты играли b-moll'ную сюиту Баха для флейты и струнного оркестра. Молодой Толли вел оркестр со свойственной ему неподражаемой грацией, изгибаясь, как лебедь, и чертя руками по воздуху пышные арабески, словно он танцевал под музыку. Двенадцать безымянных скрипачей и виолончелистов пикировали по его приказу. А великий Понджилеони взасос целовал свою флейту. Он дул через отверстие, и цилиндрический воздушный столб вибрировал; раздумья Баха наполняли четырехугольный римский зал. В начальном *largo* Иоганн Себастьян при помощи воздушного столба и амбушюра Понджилеони твердо и ясно сказал: в мире есть величие и благородство; есть люди, рожденные королями; есть завоеватели, прирожденные властители земли. Размышления об этой земле, столь сложной и многолюдной, продолжались в *allegro*. Вам кажется, что вы нашли истину; скрипки возвещают ее, чистую, ясную, четкую; вы торжествуете: вот она, в ваших руках. Но она ускользает от вас, и вот уже

новый облик ее в звуках виолончелей и еще новый – в звуках воздушного столба Понджилеони. Каждая часть живет своей особой жизнью; они соприкасаются, их пути перекрещиваются, они сливаются на мгновение в гармонии; она кажется конечной и совершенной, но потом распадается снова. Каждая часть одинока, отдельна, одна. «Я емь я, – говорит скрипка, – мир движется вокруг меня». «Вокруг меня», – поет виолончель. «Вокруг меня», – твердит флейта. И все одинаково правы и одинаково не правы, и никто из них не слушает остальных.

Человеческая фраза состоит из двухсот миллионов частей. Ее шум говорит что-то статистике и ничего не говорит художнику. Только выбирая каждый раз одну-две части, художник может что-то понять. Вот здесь, например, одна часть: Иоганн Себастьян рассказывает о ней. Начинается рондо, чудесное и мелодично-простое, почти как народная песня. Девушка поет сама себе о любви, одиноко, немножечко грустно. Девушка поет среди холмов, а по небу плывут облака. Одиноким, как облако, слушает ее песню поэт. Мысли, которые вызвала в нем песня, – это сарабанда, следующая за рондо. Медленно и нежно размышляет он о красоте (несмотря на грязь и глупость), о добре (несмотря на все зло), о единстве (несмотря на все запутанное разнообразие) мира. Это – красота, это – добро, это – единство. Их не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но в их реальности нерушимо убеждается дух. Девушка поет сама себе под бегущими по небу облаками – и вот уже в нас родилась уверенность. Утреннее небо безоблачно, и рождается уверенность. Это иллюзия или откровение глубочайшей истины? Кто знает? Понджилеони дул, скрипачи проводили натертым канифолью конским волосом по натянутым бараньим кишкам; и в продолжение всей сарабанды поэт неторопливо размышлял о своей нежной и спокойной уверенности.

– Эта музыка начинает надоедать мне, – шепотом сказал Джон Бидлэйк хозяйке дома. – Скоро она кончится?

Старый Бидлэйк не любил и не понимал музыку и откровенно признавался в этом. Он мог позволить себе быть откровенным. Какой смысл такому замечательному художнику, каким был Джон Бидлэйк, притворяться, будто он любит музыку? Он посмотрел на сидящих гостей и улыбнулся.

– У них такой вид, точно они сидят в церкви, – сказал он.

Леди Эдвард погрозила ему веером.

– Кто эта маленькая женщина в черном, – продолжал он, – которая закатывает глаза и качается всем телом, точно святая Тереза в экстазе?

– Фанни Логан, – прошептала леди Эдвард. – Но замолчите же наконец!

– Принято говорить, что порок преклоняется перед добродетелью, – неугомонно продолжал Джон Бидлэйк. – Но теперь все позволено – моральное лицемерие нам больше не нужно. Осталось лицемерие интеллектуальное. Преклонение филистеров перед искусством – так, что ли? Посмотрите-ка, как они преклоняются – постные рожи и благоговейное молчание!

– Вы должны быть благодарны за то, что их преклонение перед *вами* выражается в гинях, – сказала леди Эдвард. – А теперь извольте молчать.

Бидлэйк с комическим ужасом прикрыл ладонью рот. Толли сладострастно взмахивал руками; Понджилеони дул; скрипачи пиликали. А Бах, поэт, размышлял об истине и красоте.

Слезы подступали к глазам Фанни Логан. Ее легко было растрогать, особенно музыкой; а когда она испытывала какое-нибудь чувство, она не старалась подавить его, но всем существом отдавалась ему. Как прекрасна музыка, как печальна и в то же время как успокоительна! Она чувствовала, как музыка претворяется в чудесное ощущение, незаметно, но настойчиво наполняющее все извилины ее существа. Все ее тело вздрагивало и покачивалось в такт мелодии. Она думала о своем покойном муже; поток музыки приносил ей воспоминания о нем, о милом, милом Эрике; с тех пор прошло почти два года; он умер таким молодым! Слезы потекли быстрее. Она отерла их. Музыка была бесконечно печальна, но в то же время она утешала. Она принимала все: преждевременную смерть бедняжки Эрика, его болезнь, его неже-

ление умирать; она принимала все. Она выражала всю печаль мира, но из глубин этой печали она утверждала – спокойно, примиренно, – что все правильно, все идет так, как нужно. За пределами печали простиралось более широкое, более полное блаженство. Слезы струились из глаз миссис Логан; но, несмотря на печаль, это были блаженные слезы. Ей хотелось поделиться своими чувствами с дочерью. Но Полли сидела в другом ряду. Миссис Логан видела за два ряда от себя ее затылок и ее тонкую шею с ниткой жемчуга, которую милый Эрик подарил ей, когда ей исполнилось восемнадцать лет, за несколько месяцев до своей смерти. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, словно догадавшись о ее переживаниях, Полли обернулась и с улыбкой взглянула на нее. Грустное и музыкальное блаженство миссис Логан стало теперь полным.

Но не только глаза матери смотрели в сторону Полли. Удобно расположившись немного сбоку и позади нее, Хьюго Брокл восторженно изучал ее профиль. Как она очаровательна! Он размышлял, хватит ли у него смелости сказать ей, что в детстве они играли вместе в Кенсингтонском парке. Он подойдет к ней после музыки и скажет: «А знаете, мы были представлены друг другу в детских колясочках». Или, чтобы проявить еще более неожиданное остроумие: «Вы – та самая особа, которая стукнула меня по голове ракеткой».

Взгляд Джона Бидлэйка, беспокойно блуждавший по комнате, неожиданно натолкнулся на Мэри Беттертон. Да, это чудовище – Мэри Беттертон! Он опустил руку, он потрогал дерево кресла. Когда Джон Бидлэйк видел что-нибудь неприятное, он всегда чувствовал себя спокойней, потрогав дерево. Конечно, он не верил в Бога; он любил рассказывать анекдоты о священниках. Но дерево, дерево – в этом что-то есть... И подумать только, что он был влюблен в нее, безумно влюблен, двадцать, двадцать два – он боялся вспомнить, сколько лет тому назад. Какая старая, какая отвратительная толстуха! Он снова потрогал ножку кресла. Он отвернулся и попробовал думать о чем-нибудь другом, только не о Мэри Беттертон. Но воспоминания о том времени, когда Мэри была молода, преследовали его. Тогда он еще ездил верхом. Перед ним возник образ его самого на черном коне и Мэри – на гнедом. В те дни они часто выезжали вместе. Он писал тогда третью и лучшую картину из серии «Купальщицы». Какая картина, черт возьми! Даже в то время Мэри, с точки зрения некоторых, была слишком полна. Он этого не находил: полнота всегда нравилась ему. Эти современные женщины, старающиеся быть похожими на водосточные трубы... Он снова взглянул на нее и вздрогнул. Он ненавидел ее за то, что она так отвратительна, за то, что она была когда-то так прелестна. А ведь он на добрых двадцать лет старше ее!

III

Двумя этажами выше, между pianoobile⁴ и мансардами прислуги, лорд Эдвард Тэнтемаунт работал у себя в лаборатории.

Младшие сыновья Тэнтемаунтов обычно шли в армию. Но так как наследник был калек, отец предназначил лорда Эдварда к политической карьере, которую старшие сыновья по традиции начинали в палате общин и величественно заканчивали в палате лордов. Едва лорд Эдвард достиг совершеннолетия, как на руки ему свалились избиратели, о которых он обязан был заботиться. Он заботился о них не за страх, а за совесть. Но до чего он не любил произносить речи! А когда встречаешься с потенциальным избирателем, что следует ему сказать? И он никак не мог запомнить основных пунктов программы консервативной партии, а тем более – проникнуться к ним энтузиазмом. Решительно, политическая деятельность не была его призванием.

«Ну а чем бы ты *хотел* заняться?» – спрашивал его отец.

Но вся беда была в том, что лорд Эдвард сам этого не знал. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, было посещение концертов. Но ведь нельзя же всю жизнь только и делать, что ходить в концерты! Четвертый маркиз не мог скрыть своего гнева и разочарования. «Мальчишка – кретин», – говорил он, и сам лорд Эдвард готов был согласиться с ним. Он был никчемным неудачником; в мире не было для него места. Бывали минуты, когда он думал о самоубийстве. «Если бы он хоть начал прожигать жизнь!» – жаловался его отец. Но к прожиганию жизни юноша был еще меньше склонен, чем к занятиям политикой. «Даже спортом не интересуется», – гласил следующий пункт обвинительного приговора. Это была правда.

Избиение птиц, даже в обществе принца Уэльского, решительно не привлекало лорда Эдварда: он не ощущал ничего, кроме разве некоторого отвращения. Он предпочитал сидеть дома и читать, рассеянно, неразборчиво, всего понемногу. Но даже чтение не удовлетворяло его. Главное достоинство этого занятия состоит в том, что оно занимает ум и помогает убивать время. Но какой в этом толк? Убивать время с помощью книги немногим лучше, чем убивать фазанов и время с помощью ружья. Он мог бы предаваться чтению до конца своих дней, но этим он все равно ничего бы не достиг.

Вечером 18 апреля 1887 года он сидел в библиотеке Тэнтемаунт-Хауса и размышлял о том, стоит ли вообще жить и как лучше умереть – утопиться или застрелиться? В этот день «Таймс» опубликовала подложное письмо Парнелла, якобы санкционировавшее убийство в Феникс-Парке. Четвертый маркиз с самого завтрака пребывал в волнении, едва не доведшем его до апоплексии. В клубах только и говорили, что об этом письме. «Вероятно, это очень важно», – говорил сам себе лорд Эдвард. Но он не мог заинтересоваться ни парнелловским движением, ни убийствами. Послушав, что говорят об этом в клубе, он в отчаянии отправился домой. Дверь библиотеки была открыта. Он вошел и бросился в кресло, чувствуя себя совершенно разбитым, как после тридцатимильной прогулки. «Я, наверно, идиот», – уверял он сам себя, размышляя о политическом энтузиазме других и о собственном безразличии. Он был слишком скромн, чтобы считать идиотами всех остальных. «Я безнадежен, безнадежен».

Он громко застонал, и его стон зловеще прозвучал в ученой тишине большой библиотеки. Смерть, конец всему; река, револьвер... Время шло. Лорд Эдвард понял, что даже о смерти он не может думать связно и последовательно: даже смерть скучна. На столе около него лежал последний номер «Куотерли». Может быть, это окажется менее скучным, чем смерть? Он взял его, открыл наудачу и принялся читать абзац из середины статьи о каком-то Клоде Бернаре. До тех пор он никогда не слыхал о Клоде Бернаре. Наверное, какой-нибудь француз. «Инте-

⁴ Бельэтаж (ит.).

ресно, – думал он, – что это такое – гликогенная функция печени? Видимо, что-то ученое». Он пробежал глазами страницу. В одном месте стояли кавычки: это была цитата из сочинений Клода Бернара.

«Живое существо не является исключением из великой гармонии природы, которая заставляет вещи применяться одна к другой; оно не противоречит великим космическим силам и не вступает с ними в борьбу. Напротив: оно – лишь один из голосов в хоре всех вещей, и жизнь каково-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной».

Сначала он рассеянно пробежал эти слова, затем перечел их более внимательно, затем перечел еще несколько раз со все возрастающим интересом. «Жизнь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». А как же самоубийство? Частица вселенной, разрушающая сама себя? Нет, не разрушающая: она не могла бы разрушить себя, даже если бы попыталась это сделать. Она просто изменит форму своего бытия. Изменит... Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии «Юпитер». А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществленными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые, в свою очередь, превратились в баранов, чьи задние ноги, в свою очередь, превратились в других музыкантов, чьи тела, в свою очередь... Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. Неожиданно, в первый раз в жизни он понял, что он составляет единое целое с миром. Эта идея потрясла его; он встал с кресла и принялся взволнованно ходить взад и вперед по комнате. В сознании у него царил хаос, но мысли его были яркими и стремительными, а не тусклыми, туманными и ленивыми, как всегда.

«Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении «Волшебной флейты», – тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат... все это химия. Водород, кислород... Ну а еще что? Господи, как ужасно, как ужасно ничего не знать! Все те годы в Итоне. Какой от них толк? Латинские стихи. Чего ради? *En! distenta ferunt perpingues ubera vassae*⁵. Почему меня не учили чему-нибудь дельному? «...Голос в хоре всех вещей»... Все это точно музыка. Гармония, и контрапункт, и модуляция. Но нужно уметь слушать. Китайская музыка... мы ничего в ней не понимаем. Хор всех вещей; благодаря Итону он для меня китайская музыка. Гликогенная функция печени... для меня это все равно что на языке банту: так же непонятно. Как унижительно! Но я могу научиться, я *научусь*, научусь...»

Лорд Эдвард пришел в необыкновенное возбуждение, никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым.

Вечером он сказал отцу, что не намеревается выставлять свою кандидатуру в парламент. Старый джентльмен, еще не оправившийся после утренних разоблачений относительно Парнелла, пришел в бешенство. Лорд Эдвард оставался невозмутимым; он твердо решил. На следующий день он послал в газету объявление о том, что ищет учителя. Весной следующего года он работал в Берлине у Дюбуа-Реймона.

С тех пор прошло сорок лет. Исследования в области осмоса, косвенным образом доставившие ему жену, доставили ему также репутацию крупного ученого. Его работа об ассимиляции и росте считалась классической. Но большой теоретический трактат по физической биоло-

⁵ «Станет обильный удой давать тучное вымя коровы» (лат.) – строка из Горация.

гии, создание которого он считал главной задачей своей жизни, был еще не закончен. «Жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». Слова Клода Бернара, некогда вдохновившие его, были основной темой всех его работ. Книга, над которой он трудился все эти годы, будет лишь статистической и математической иллюстрацией к этим словам.

Наверху, в лаборатории, рабочий день только начинался: лорд Эдвард предпочитал работать ночью. Днем слишком шумно. Позавтракав в половине второго, он прогуливался час-другой; вернувшись, он читал или писал до восьми часов. После ленча, с девяти или с половины десятого, он вместе со своим ассистентом проводил опыты, по окончании которых они усаживались за работу над книгой или обсуждали ее основные положения. В час ночи лорд Эдвард ужинал, а между четырьмя и пятью ложился спать.

Обрывки b-moll'ной сюиты еле слышно доносились из зала. Двое мужчин, работавших в лаборатории, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на музыку.

– Пинцет, – сказал лорд Эдвард своему ассистенту. У него был низкий голос, нечеткий и как бы лишенный определенных очертаний. «Меховой голос», – как говорила его дочь Люси, когда была маленькой.

Иллидж протянул ему тонкий блестящий инструмент. Лорд Эдвард издал низкий звук, означавший благодарность, и поднес пинцет к анестезированному тритону, распластанному на миниатюрном операционном столе. Критический взгляд Иллиджа выразил одобрение. Старик работал изумительно четко. Ловкость сэра Эдварда всегда поражала Иллиджа. Никто не поверил бы, что такое громоздкое и неуклюжее существо, как Старик, может быть таким аккуратным. Его большие руки умели проделывать тончайшие операции – приятно было смотреть на них.

– Готово! – сказал сэр Эдвард и выпрямился настолько, насколько позволяла ему согнутая ревматизмом спина. – Я думаю, так правильно. Как по-вашему?

Иллидж кивнул.

– Совершенно правильно, – сказал он. Иллидж говорил с ланкаширским акцентом, отнюдь несвойственным воспитанникам старинных аристократических школ. Он был рыжий человек, невысокого роста, с мальчишеским веснушчатым лицом.

Тритон начал пробуждаться. Иллидж перенес его в банку. У животного не было хвоста: хвост был отрезан восемь дней тому назад, а сегодня вечером небольшой отросток регенерировавшей ткани, из которого нормально должен был развиваться хвост, был пересажен на место ампутированной правой передней лапы. Как будет вести себя отросток на новом месте? Превратится ли он в переднюю лапу или из него вырастет неуместный хвост? Первый опыт был поставлен с только что образовавшимся зачатком хвоста: из него выросла лапа. В следующий раз отросток пересадили лишь тогда, когда он достиг значительных размеров. Войдя слишком в роль хвоста, он не сумел примениться к новым условиям: в результате получилось чудовище с хвостом вместо ноги. Сегодня они экспериментировали с отростком промежуточного возраста.

Лорд Эдвард достал из кармана трубку и принялся набивать ее, задумчиво поглядывая на тритона.

– Интересно, что получится на этот раз, – сказал он низким, неясным голосом. – Мне кажется, мы находимся на границе между... – Он не закончил фразу: он всегда с трудом находил слова для выражения своих мыслей. – Зачатку предстоит трудный выбор.

– Быть или не быть, – насмешливо сказал Иллидж и захохотал; но, заметив, что лорд Эдвард не проявляет никаких признаков веселости, он перестал смеяться. Опять дал маху! Он рассердился на самого себя и совершенно непоследовательно – на Старика.

Лорд Эдвард набил трубку.

– Хвост становится ногой, – задумчиво сказал он. – В чем механизм этого явления? Химические особенности окружающих?.. Кровь здесь, очевидно, ни при чем. Или, по-вашему, это имеет какое-нибудь отношение к ионизации? Конечно, она различна в разных частях тела.

Хотя почему мы все не разрастаемся, как раковые опухоли. Образование форм в процессе роста – очень странная вещь, когда об этом подумаешь. Очень таинственно и... – Его слова перешли в низкое глухое бормотание.

Иллидж слушал неодобрительно. Когда Старик принимается рассуждать об основных вопросах биологии, никогда не знаешь, чем он кончит. С таким же успехом он мог бы говорить о Боге. От таких разговоров краснеешь. На этот раз он решил не допускать ничего подобного. Он начал самым бодрым, обыденным голосом:

– Теперь нам нужно заняться нервной системой и посмотреть, не влияет ли она на привку. Предположите, например, что мы вырежем часть спинного хребта...

Но лорд Эдвард не слушал. Он вынул трубку изо рта, поднял голову и склонил ее немного набок. Он хмурился, словно стараясь уловить и вспомнить что-то. Он поднял руку, жестом приказывая замолчать. Иллидж остановился на полуслове и тоже прислушался. Узор мелодии чуть заметно вырисовался на фоне тишины.

– Бах? – прошептал сэр Эдвард.

Понджилеони дул в флейту, безымянные скрипачи водили смычками, и от этого вибрировал воздух в большом зале, вибрировали стекла выходящих в него окон; передаваясь дальше, эти вибрации вызвали сотрясение воздуха в комнате сэра Эдварда, на другом конце дома. Сотрясаясь, воздух ударял о *membrana tympani*⁶ сэра Эдварда; взаимосвязанные *malleus*⁷, *incus*⁸ и стремя пришли в движение и, в свою очередь, привели в движение перепонку овального отверстия и подняли микроскопическую бурю в жидкости лабиринта. Ворсинки, которыми оканчивается слуховой нерв, заколебались, как водоросли в бурном море; целый ряд непонятных чудес произошел в мозгу, и лорд Эдвард восторженно прошептал: «Бах». Он блаженно улыбнулся, его глаза загорелись. Молодая девушка пела в одиночестве под плывущими облаками. А потом начал размышлять облачно-одиноким философом.

– Пойдем вниз, послушаем, – сказал лорд Эдвард. Он встал. – Идемте, – сказал он. – Работа подождет. Такие вещи слышишь не каждый день.

– А как насчет костюма? – с сомнением сказал Иллидж. – Не могу же я сойти вниз в таком виде. – Он посмотрел на свой костюм.

Даже когда он был новым, это был дешевый костюм. От возраста он не стал лучше.

– Ну, какие пустяки. – Собака, почуявшая дичь, вряд ли проявила бы больше рвения, чем лорд Эдвард при звуке флейты Понджилеони. Он взял своего ассистента под руку и потащил его из лаборатории. Потом по коридору и вниз по лестнице. – Это всего только маленький раут, – продолжал он. – Я, кажется, вспоминаю, что жена мне говорила... Совсем домашнему. И кроме того, – добавил он, придумывая новые оправдания для своей жадности к музыке, – мы можем проскользнуть незаметно... Никто не обратит внимания.

Иллидж все еще колебался.

– Боюсь, что это не такой уж маленький раут, – начал он, вспомнив автомобили, подъезжающие к дому.

– Ничего, ничего, – прервал лорд Эдвард, неудержимо стремясь насладиться Бахом.

Иллидж покорился судьбе. Он подумал, как глупо он будет выглядеть в своем лоснящемся костюме из синей саржи. Впрочем, решил он потом, пожалуй, даже лучше появиться в синей сарже прямо из лаборатории, да еще под покровительством хозяина дома (сам лорд Эдвард был в куртке из грубой шерсти); во время своих прежних экспедиций в блистательный мир леди Эдвард он обнаружил, что его старый смокинг плохо шит и производит самое жалкое впечатление. Лучше быть совсем не похожим на богатую и шикарную публику, казаться

⁶ Барабанная перепонка (лат.).

⁷ Молоточек (лат.).

⁸ Наковальня (лат.).

пришельцем с иной, интеллектуальной планеты, а не жалким третьеразрядным подражателем. На человека в синей рабочей одежде можно смотреть как на курьез, тогда как человека в плохо сшитом вечернем костюме (как и лакея) будут игнорировать, презирать его за то, что он безуспешно пытается быть похожим на кого-то еще, а не на самого себя.

Иллидж решил твердо, даже демонстративно, играть роль марсианина.

Их появление произвело еще больший эффект, чем ожидал Иллидж. Две ветви парадной лестницы Тэнтемаунт-Хауса, слившись посередине, как две одинаково широкие реки, низвергаются водопадом веронского мрамора в зал. Лестница вливается в зал из-под арки, в центре одной из стен закрытого четырехугольника, против вестибюля и парадного входа. Входящий с улицы видит зал и в глубине его, за аркой в противоположной стене, – широкие ступени и блестящие перила, ведущие к площадке, где Венера работы Кановы, гордость коллекции третьего маркиза, стоит на возвышении в нише, прикрывая или, вернее, подчеркивая скромным и кокетливым жестом обеих рук свои мраморные прелести. У подножия этого триумфального мраморного спуска леди Эдвард поместила оркестр; гости сидели рядами лицом к лестнице. Когда Иллидж и лорд Эдвард вышли из-за угла перед Венерой Кановы, приближаясь к музыке и к толпе слушателей на цыпочках, как заговорщики, они оказались в центре внимания сотни пар глаз. Ропот любопытства пробежал по рядам. Этот крупный, сутулый человек в костюме из грубой шерсти и с трубкой в зубах, появившийся из какого-то чуждого мира, производил комическое и зловещее впечатление. Он был похож на одно из тех старинных привидений, какие посещают только дома самых лучших аристократических семейств. Ни зверь Гламиса, ни даже сам Минотавр не возбудили бы такого любопытства, как лорд Эдвард. Гости подносили к глазам лорнеты, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть его через головы сидевших впереди. Неожиданно почувствовав на себе столько пытливых взглядов, лорд Эдвард испугался. Ему стало неловко, словно он совершил в обществе какую-то грубую бестактность; он вынул трубку изо рта и, не потушив, сунул ее в карман куртки. Он остановился в нерешительности: спастись бегством или наступать? Он стоял, раскачиваясь всем своим неуклюжим туловищем взад и вперед. Это было похоже на медленное и тяжеловесное покачивание верблюжьей шеи. Была минута, когда он решил отступить. Но любовь к Баху пересилила его страхи. Он был как медведь, которого запах меда, несмотря на весь его страх, заманивает в лагерь охотника; как любовник, готовый встретить лицом к лицу вооруженного и оскорбленного супруга и бракоразводный процесс, лишь бы провести несколько минут в объятиях возлюбленной. Он пошел вперед на цыпочках, еще более похожий на заговорщика, чем раньше; Гай Фокс, которого уже обнаружили, но который все же надеется, что ему удастся остаться незамеченным, если он будет действовать так, словно «Пороховой заговор» разворачивается по намеченному плану. Иллидж следовал за ним. От смущения он стал красным как рак; но, несмотря на смущение или, скорее, именно от смущения, он спускался следом за лордом Эдвардом развязной походкой, засунув руку в карман и улыбаясь во весь рот. Он равнодушно оглядывал толпу зрителей. Его лицо выражало презрительное любопытство. Слишком поглощенный своей ролью марсианина, чтобы смотреть себе под ноги, Иллидж вдруг оступился на этой царственной лестнице с непривычно широкими и отлогими ступенями. Его нога скользнула, он отчаянно замахал руками, стараясь сохранить равновесие, и остановился двумя-тремя ступенями ниже, каким-то чудом удержавшись все-таки на ногах. Свое нисхождение он закончил со всем достоинством, на какое он был в эту минуту способен. Он был очень зол, он ненавидел всех гостей леди Эдвард, всех до одного.

IV

В финальной бадинри Понджилеони превзошел самого себя. Евклидовские аксиомы праздновали кермессу вместе с формулами элементарной статики. Арифметика предавалась дикой сатурналии; алгебра выделяла прыжки. Концерт закончился оргией математического веселья. Раздались аплодисменты. Толли раскланивался со свойственной ему грацией; раскланивался Понджилеони, раскланивались даже безымянные скрипачи. Публика отставляла стулья и подымалась с мест. Сдерживаемая до сих пор болтовня хлынула бурным потоком.

– Какой чудной вид был у Старика, правда? – встретила подругу Полли Логан.

– А рыжий человечек с ним!

– Как Матт и Джеф.

– Я думала, я умру со смеху, – сказала Нора.

– Он старый чародей! – Полли говорила взволнованным шепотом, наклоняясь вперед и широко раскрывая глаза, как будто желая не только словами, но и мимикой выразить таинственность старого чародея. – Колдун!

– Интересно, что он делает у себя наверху?

– Вскрывает жаб и саламандр и прочих гадов, – ответила Полли.

Палец жабий, панцирь рачий,
Мех крылана, зуб собачий. —

Она декламировала со вкусом, опьяненная словами. – И он спаривает морских свинок со змеями. Вы только представьте себе помесь кобры и морской свинки!

– Ух! – вздрогнула подруга. – Но если он интересуется только такими вещами, зачем он на ней женился? Вот этого я никогда не могла понять.

– А зачем *она* вышла за него? – Голос Полли снова перешел в сценический шепот. Ей нравилось говорить обо всем, как о чем-то волнующем, потому что волнующим ей казалось все на свете: ей было всего двадцать лет. – Для этого у нее были очень веские причины.

– Надо полагать.

– К тому же она родом из Канады, что делало эти причины еще более неотложными.

– Так вы думаете, что Люси...

– Ш-ш...

Подруга обернулась.

– Как восхитителен Понджилеони! – воскликнула она очень громко и с несколько чрезмерной находчивостью.

– Просто чудесен! – продекламировала в ответ Полли, словно с подмостков театра «Друри-Лейн».

– Ах, вот и леди Эдвард! – Обе подруги были страшно поражены и обрадованы. – А мы только что говорили, как замечательно играет Понджилеони.

– Ах, в самом деле? – сказала леди Эдвард, с улыбкой смотря то на одну, то на другую девушку. У нее был низкий, глубокий голос, и она говорила медленно, словно все слова, которые она произносила, были особенно значительными. – Как это мило с вашей стороны. – Она говорила с подчеркнуто колониальным акцентом. – К тому же он родом из Италии, – добавила она с невозмутимым и серьезным лицом, – что делает его игру еще более очаровательной. – И она прошла дальше, а девушки, краснея, растерянно уставились друг на друга.

Леди Эдвард была миниатюрная женщина с тонкой, изящной фигурой; когда она надевала платье с низким вырезом, становилось заметным, что ее худоба начинает переходить в костлявость. То же самое можно было сказать о ее красивом тонком лице с орлиным носом.

Своей матери-француженке, а в последние годы, вероятно, также искусству парикмахера она была обязана смоляной чернотой своих волос. Кожа у нее была молочно-белая. Глаза смотрели из-под черных изогнутых бровей тем смелым и пристальным взглядом, который присущ всем людям с очень темными глазами на бледном лице. К этой прирожденной смелости взгляда у леди Эдвард прибавилось свойственное ей одной выражение дерзкой прямооты и живой наивности. Это были глаза ребенка, «*mais d'un enfant terrible*»⁹, как предостерегающе заметил Джон Бидлэйк своему коллеге из Франции, которого он привел познакомиться с ней. Коллега из Франции имел случай убедиться в этом на собственном опыте. За обедом его посадили рядом с критиком, который написал про его картины, что их автор либо дурак, либо издевается над публикой. Широко раскрыв глаза и самым невинным тоном леди Эдвард завела разговор об искусстве... Джон Бидлэйк рвал и метал. После обеда он отвел ее в сторону и дал волю своему гневу.

– Это черт знает что, – сказал он, – он мой друг. Я привел его, чтоб познакомиться с вами. А вы что над ним проделываете? Это уж чересчур.

Яркие черные глаза леди Эдвард никогда не смотрели более наивно, ее акцент никогда не был более обезоруживающе французско-канадским (надо сказать, что она умела изменять свое произношение по желанию, делая его более или менее колониальным, в зависимости от того, кем она хотела казаться – простодушной дочерью североамериканских степей или английской аристократкой).

– Что – чересчур? – спросила она. – Чем я провинилась на этот раз?

– Со мной эти штучки не пройдут, – сказал Бидлэйк.

– Какие штучки? Никак не пойму, чем вы недовольны. Никак не пойму.

Бидлэйк объяснил ей, в чем дело.

– Вы отлично это знали, – сказал он. – Теперь я припоминаю, что не дальше как на прошлой неделе мы с вами говорили о его статье.

Леди Эдвард нахмурила брови, точно пытаясь что-то вспомнить.

– А ведь в самом деле! – воскликнула она, посмотрев на него с комическим выражением ужаса и раскаяния. – Какой ужас! Но вы знаете, какая у меня скверная память.

– Ни у кого на свете нет такой хорошей памяти, как у вас, – сказал Бидлэйк.

– Но я вечно все забываю, – говорила она.

– Только то, что вам следовало бы помнить. С вами это случается каждый раз, это не может быть случайным. Вы всегда помните, что именно вы хотите забыть.

– Какая чепуха! – воскликнула леди Эдвард.

– Если бы у вас была плохая память, – не унимался Бидлэйк, – вы могли бы изредка забывать, что мужей нельзя приглашать в один день с официальными любовниками их жен; что анархисты не очень любят встречаться с авторами передовиц в «Морнинг пост» и что верующим католикам не доставляет никакого удовольствия выслушивать кощунственные речи законенных атеистов. Будь у вас плохая память, вы могли бы иной раз забыть об этом, но чтоб забывать каждый раз, для этого, знаете ли, нужна исключительная память. Исключительная память и исключительная любовь к стравливанию людей.

В продолжение всего разговора леди Эдвард сохраняла выражение наивной серьезности. Но теперь она рассмеялась.

– Какие нелепости вы говорите, милый Джон!

Разговор снова привел Бидлэйка в хорошее настроение. Он засмеялся в ответ.

– Поймите, – сказал он, – я не против того, чтобы вы шутили ваши шутки над другими. Это доставляет мне массу удовольствия. Но только, пожалуйста, не надо мной.

⁹ Но ребенка несносного (*фр.*).

– В следующий раз постараюсь не забывать, – кротко ответила она и посмотрела на него с такой детской наивностью, что ему оставалось только рассмеяться.

С тех пор прошло много лет. Она сдержала свое слово и больше не выкидывала своих шуточек по отношению к нему. Но с другими людьми она вела себя по-прежнему забывчиво и невинно. Ее подвиги вошли в поговорку. Над ними смеялись. Но слишком многие оказывались их жертвами; ее боялись, ее не любили. Но все стремились попасть на ее вечера: у нее был первоклассный повар, первоклассные вина и первоклассные фрукты. Много прощалось ей за богатство ее супруга. Кроме того, общество в Тэнтмаунт-Хаусе всегда отличалось разнообразием и зачастую эксцентрической элегантностью. Люди принимали ее приглашения, а в отместку злословили о ней за ее спиной. Ее называли, между прочим, снобом и охотницей за светскими львами. Но даже враги ее должны были признать, что, будучи снобом, она высмеивала тот самый пышный церемониал, ради которого она жила, что она собирала львов только для того, чтобы стравливать их. Там, где буржуазная англичанка вела бы себя серьезно и подострастно, леди Эдвард была насмешлива и непочтительна. Она прибыла из Нового Света; традиционная иерархия была для нее игрой, но игрой живописной, ради которой стоило жить.

– Она могла бы быть героиней того анекдота, – как-то сказал о ней Бидлэйк, – знаете, об американце и двух английских пэрах. Помните? Он разговорился в вагоне с двумя англичанами, они ему очень понравились, и, чтобы иметь возможность впоследствии возобновить с ними знакомство, он попросил разрешения узнать, кто они такие. «Я, – сказал один из них, – герцог Гемпширский, а это мой друг, Владелец Баллантрэ». «Очень рад с вами познакомиться, – говорит американец. – Разрешите представить вам моего сына Иисуса Христа». Это – вылитая Хильда. И все-таки она всю жизнь занимается только тем, что приглашает и принимает приглашения людей, чьи титулы кажутся ей такими смешными. Странно. – Он покачал головой. – Очень странно.

Когда леди Эдвард удалялась от двух смущенных девушек, на нее налетел очень высокий плотный мужчина, с недозволенной скоростью продвигавшийся сквозь толпу гостей.

– Простите, – сказал он, не найдя нужным даже посмотреть, кого это он чуть не сбил с ног. Его взгляд следил за движениями кого-то, находившегося в другом конце зала; он понимал только, что перед ним какое-то маленькое препятствие, вероятно человек, так как вокруг было очень много людей. Он остановился на полном ходу и сделал шаг в сторону, намереваясь обойти препятствие. Но препятствие оказалось не из таких, которые дают себя легко обойти. Леди Эдвард поймала его за рукав:

– Уэбли!

Делая вид, что он не почувствовал, как его схватили за рукав, и не слышал, как его назвали по имени, Эверард Уэбли продолжал свой путь: у него не было ни времени, ни желания разговаривать с леди Эдвард. Но избавиться от леди Эдвард было не так-то просто: она дала протащить себя несколько шагов, все еще цепляясь за него.

– Уэбли! – повторила она. – Стой! Тпру! – Она так громко и так искусно передразнила окрик деревенского ломовика, что Уэбли принужден был остановиться из страха привлечь к себе насмешливое внимание остальных гостей. Он посмотрел на нее сверху вниз.

– Ах, это вы! – сердито сказал он. – Простите, я вас не заметил. – Раздражение, выражавшееся на его нахмуренном лице и в его невежливых словах, было наполовину искренним, наполовину напускным. Заметив, что многих пугает его гнев, он стал культивировать свою прирожденную свирепость. Это держало людей на расстоянии, а его избавляло от назойливости.

– Господи! – воскликнула леди Эдвард в явно карикатурном ужасе.

– Что вам от меня нужно? – спросил он таким тоном, словно обращался к надоедливому попрошайке на улице.

– Какой вы сердитый!

– Если это все, что вы хотели мне сказать...

Тем временем леди Эдвард критически рассматривала его своими наивно-дерзкими глазами.

– Знаете, – сказала она, прерывая его на половине фразы, словно ей необходимо было, не медля ни минуты, сообщить ему о своем великом и неожиданном открытии, – вам следовало бы играть роль капитана Хука в «Питере Пэне». Ну да, конечно. У вас идеальная внешность для предводителя пиратов. Не правда ли, мистер Бэббедж? – Она остановила Иллиджа, который в безутешном одиночестве пробирался сквозь толпу незнакомых людей.

– Добрый вечер, – сказал он. Сердечная улыбка леди Эдвард не являлась достаточной компенсацией за то, что его имя было перевернуто.

– Уэбли, это мистер Бэббедж; он помогает моему мужу в его работе. – Кивком головы Уэбли признал существование Иллиджа. – Не правда ли, мистер Бэббедж, он очень похож на предводителя пиратов? – продолжала леди Эдвард. – Посмотрите-ка на него.

– Не могу сказать, чтобы мне приходилось видеть много предводителей пиратов, – смущенно усмехнулся Иллидж.

– Ну конечно, – воскликнула леди Эдвард, – я совсем забыла! Он ведь *и есть* предводитель пиратов. В действительной жизни. Разве не так, Уэбли?

– О, разумеется, разумеется, – рассмеялся Эверард Уэбли.

– Видите ли, – конфиденциально сообщила леди Эдвард Иллиджу, – это мистер Эверард Уэбли. Вождь Свободных Британцев. Знаете, которые ходят в зеленых мундирах. Как хористы в оперетке.

Иллидж злорадно улыбнулся и кивнул. Так вот он каков, Эверард Уэбли, основатель и вождь Союза Свободных Британцев! Враги называли эту организацию по начальным буквам С-ы С-ы Б-и. Как заметил однажды прекрасно осведомленный корреспондент «Фигаро» в статье, посвященной Свободным Британцам, «*les initials B. B. F. ont, pour le public anglais, une signification plutôt pavorative*»¹⁰. Уэбли не учел этого, когда он придумывал имя для своей организации. Иллидж не без удовольствия подумал, что теперь ему часто придется вспоминать об этом.

– Если вы кончили ваши шуточки, – сказал Эверард, – я попрошу у вас разрешения уйти.

«Игрушечный Муссолини, – думал Иллидж, – впрочем, подходит к своей роли. – Он испытывал личную ненависть ко всем высоким и красивым или вообще представительным людям. Сам он был небольшого роста и похож на очень смышленного уличного мальчишку. – Большая дубина!»

– Надеюсь, я не сказала вам ничего обидного? – спросила леди Эдвард, изображая на своем лице великое раскаяние.

Иллидж вспомнил карикатуру в «Дейли геральд». Уэбли имел наглость сказать, что «Миссия Свободных Британцев состоит в том, чтоб защитить культуру». Рисунок изображал Уэбли с полдюжиной одетых в мундиры бандитов, которые насмерть избивали рабочего. Капиталист в цилиндре одобритительно смотрел на это зрелище. На его чудовищных размеров животе красовалась надпись: *культура*.

– Я не обидела вас, Уэбли? – повторила леди Эдвард.

– Ничуть. Только я очень занят. Видите ли, – объяснил он своим самым медовым голосом, – у меня есть дела. Я работаю, если вы понимаете смысл этого слова.

Иллидж предпочел бы, чтобы этот удар был нанесен кем-нибудь другим. Грязный негодай! Сам-то он был коммунистом.

Уэбли покинул их. Леди Эдвард смотрела, как он пробивается сквозь толпу.

¹⁰ Инициалы С.С.Б., с точки зрения английской публики, имеют, скорее, уничижительный смысл (*фр.*).

– Как паровоз, – сказала она. – Какая энергия и какая обидчивость! Политические деятели хуже актрис: они так тщеславны. А нашему дорогому Уэбли не хватает чувства юмора. Он хочет, чтобы с ним обращались как с его собственным памятником, воздвигнутым восторженной и благодарной нацией. Посмертно, понимаете? Как с великим историческим героем. А я, когда с ним встречаюсь, вечно забываю, что передо мной Александр Македонский. Мне все кажется, что это просто Уэбли.

Иллидж захохотал. Леди Эдвард положительно начинала ему нравиться: она так здраво смотрела на вещи.

– Нельзя отрицать, конечно, что его Братство – весьма неплохая вещь, – продолжала леди Эдвард. – Не правда ли, мистер Бэббедж?

Он сделал недовольную гримасу.

– Ну... – начал он.

– Кстати, – сказала леди Эдвард, обрывая в самом начале его изумительно остроумное замечание по адресу Свободных Британцев, – советую вам быть осторожней, когда вы спускаетесь по этой лестнице: она *ужасно* скользкая.

Иллидж покраснел.

– Ничуть, – пробормотал он и покраснел еще больше. Он стал красным, как свекла, до корней своих рыжих, как морковь, волос. Его симпатия к леди Эдвард таяла с каждой минутой.

– Нет, не говорите: она все-таки скользкая, – любезно настаивала леди Эдвард. – Кстати, над чем вы работали сегодня с Эдвардом? Меня это *так* интересует.

Иллидж улыбнулся.

– Что ж, если это действительно интересует вас, – сказал он, – мы работаем над регенерацией утраченных органов у тритонов. – Среди тритонов он чувствовал себя как дома; симпатия к леди Эдвард понемногу возвращалась.

– Тритоны? Это такие штучки, которые плавают? – (Иллидж кивнул.) – Но как же они теряют свои органы?

– Ну, в лаборатории, – объяснил он, – они теряют органы потому, что мы их вырезаем.

– И они снова вырастают?

– Они снова вырастают.

– Господи Боже мой! – сказала леди Эдвард. – Вот уж никогда не подумала бы! Как все это увлекательно! Расскажите мне еще что-нибудь.

В конце концов, она не так уж плоха. Он начал объяснять. Он как раз дошел до самого важного и существенного, до критического пункта их опытов – до превращения пересаженного хвостового отростка в ногу, когда леди Эдвард, взгляд которой блуждал по залу, положила ему руку на плечо.

– Идемте, – сказала она, – я познакомлю вас с генералом Нойлем. Он очень забавный старичок – не всегда по своей воле, впрочем.

Объяснения застыли в горле Иллиджа. Он понял, что все, о чем он рассказывал леди Эдвард, несколько ее не интересовало и что она даже не потрудилась отнестись сколько-нибудь внимательно к его словам. Остро ненавидя ее, он следовал за ней в злобном молчании.

Генерал Нойль разговаривал с каким-то джентльменом в мундире. Голос у него был воинственный и астматический. Приближаясь, они слышали, как он говорил:

– «Дорогой мой, – сказал я ему, – не вздумайте выпускать его теперь на ипподром: это будет преступление, – сказал я. – Это будет сплошное безумие. Снимите его, – сказал я, – снимите его со списка!» И он снял своего коня со списка.

Леди Эдвард дала знать о своем присутствии. Оба военных были подавляюще вежливы: они были в таком *восторге* от сегодняшнего вечера.

– Я выбрала Баха специально для вас, генерал Нойль, – сказала леди Эдвард с очаровательным смущением, словно юная девушка, открывающая свою сердечную тайну.

– Гм... да... это очень мило с вашей стороны. – Смущение генерала Нойля было неподдельным: он решительно не знал, что ему делать с ее музыкальным подарком.

– Я колебалась, – продолжала леди Эдвард тем же многозначительно интимным тоном, – между генделевской «Музыкой на воде» и b-moll'ной с Понджилеони. Потом я вспомнила о *вас* и остановилась на Бахе. – Ее взгляд отмечал признаки смущения на багровом лице генерала.

– Это очень мило с вашей стороны, – повторил генерал. – Не скажу, чтобы я был большим знатоком по части музыки, но я тверд в своих вкусах. – Эти слова, казалось, придали ему уверенности. Он откашлялся и снова начал: – Я всегда говорю, что...

– А теперь, – торжествующе закончила леди Эдвард, – разрешите познакомить вас с мистером Бэббеджем, он помогает Эдварду в работе, и он прямо специалист по тритонам. Мистер Бэббедж – генерал Нойль – полковник Пилчард. – Улыбнувшись им на прощание, она удалилась.

– Черт меня побери совсем! – воскликнул генерал. – Полковник сказал, что она истинное божеское наказание.

– Без сомнения, – с чувством поддержал Иллидж.

Оба военных джентльмена взглянули на него и решили, что со стороны этого представителя низшего класса подобное замечание является дерзостью. Добрые католики могут сами слегка подшучивать над святыми и над нравами духовенства, но они возмущаются, слыша те же шутки из уст неверных. Генерал воздержался от словесных замечаний, а полковник удовлетворился тем, что взглядом выразил неодобрение. И они с таким нарочито пренебрежительным видом отвернулись от него, возобновив прерванный разговор о скаковых лошадях, что Иллиджу захотелось их поколотить.

– Люси, дитя мое!

– Дядя Джон!

Люси Тэнтемаунт с улыбкой обернулась к своему названому дяде. Она была среднего роста, тонкая, как ее мать; ее коротко подстриженные темные волосы, зачесанные назад и покрытые бриолином, казались совершенно черными. От природы бледная, она не румянилась. Только ее тонкие губы были накрашены, а вокруг глаз положены голубые тени. Черное платье подчеркивало белизну ее рук и плеч. Со смерти ее мужа (и троюродного брата) Генри Тэнтемаунта прошло больше двух лет. Но она все еще носила траур, по крайней мере при искусственном освещении: черное было ей очень к лицу.

– Как поживаете? – добавила она, подумав про себя, что он сильно постарел.

– Умираю, – сказал Джон Бидлэйк. Он фамильярно взял ее под руку своей большой рукой со вздувшимися венами. – Пойдемте поужинаем вместе. Я голоден, как волк.

– Но я не голодна.

– Ничего не значит, – сказал Бидлэйк. – Моя нужда сильнее твоей, как справедливо заметил сэр Филип Сидни.

– Но я не хочу есть. – Она не любила подчиняться; она предпочитала вести других за собой, а не следовать за ними. Но отделаться от дяди Джона было не так-то легко.

– Ничего, – объявил он, – я буду есть за двоих. – И с веселым смехом он потащил ее в столовую.

Люси перестала сопротивляться. Они пробирались сквозь толпу. Зеленовато-желтая крапчатая орхидея в бутоньерке Джона Бидлэйка напоминала голову змеи с раскрытой пастью. Монокль поблескивал в его глазу.

– Кто этот старик с Люси? – осведомилась Полли Логан, когда они проходили.

– Старый Бидлэйк.

– Бидлэйк? Тот самый, который... который написал те картины? – Полли говорила неуверенно, тоном человека, сознающего, что в его образовании есть пробелы, и боящегося сделать

грубую ошибку. – Вы хотите сказать, *тот самый* Бидлэйк? – Ее подруга кивнула. Полли почувствовала огромное облегчение. – Вот уж никогда не подумала бы! – продолжала она, подымая брови и широко раскрывая глаза. – Я всегда считала, что Бидлэйк – один из Старых Мастеров. Но ведь ему, должно быть, по крайней мере сто лет!

– Да, что-нибудь в этом роде. – Норе еще не исполнилось двадцати.

– Надо сказать, – любезно признала Полли, – что он прекрасно сохранился. Он еще совсем красавчик, или щеголь, или денди, как это называлось во времена его молодости.

– У него было чуть ли не пятнадцать жен, – сказала Нора.

В эту минуту Хьюго Брокл набрался храбрости и представился девушкам.

– Вы, наверно, меня не помните? Мы были знакомы, когда нас возили в детских колясочках. – Как глупо это звучало! Он густо покраснел.

Третья и лучшая картина из серии «Купальщицы» Джона Бидлэйка висела над камином в столовой Тэнтамаунт-Хауса. Это была веселая и радостная картина, светлая по тонам, чистая и яркая по колориту. Восемь полных купальщиц с жемчужной кожей расположились в воде и на берегах речки, образуя телами нечто вроде гирлянды, замыкавшейся сверху листвой дерева. Внутри этого кольца перламутровой плоти (потому что их лица были только смеющейся плотью: никакой намек на духовность не мешал созерцать гармонию красивых форм) виднелся бледно-яркий пейзаж – нежно-круглые холмы и облака.

Держа тарелку в руках и жуя сандвичи с икрой, старик Бидлэйк рассматривал свое собственное произведение. Восхищение, смешанное с грустью, овладело им.

– Хорошо, – сказал он. – Удивительно хорошо. Обратите внимание на композицию. Полная гармония частей без всякого намека на повторение или на искусственность сочетаний. – О других мыслях и чувствах, которые картина вызвала в его сознании, он промолчал: их было слишком много, и они были слишком путаны; трудно было выразить их словами. А самое главное – слишком печальны; ему не хотелось задерживаться на них. Он протянул руку и потрогал буфет: настоящее красное дерево. – Посмотрите на фигуру справа, с поднятыми руками. – Он нарочно говорил о технической стороне, чтобы подавить, отогнать нежеланные мысли. – Видите, как она уравнивает ту большую, нагнувшуюся фигуру слева. Как длинный рычаг, поднимающий большую тяжесть.

Но фигура с поднятыми руками была Дженни Смит, красивейшая из всех его натурщиц. Воплощение красоты, воплощение глупости и вульгарности. Богиня – пока она была обнажена и молчала или когда ее принуждали к молчанию поцелуями; но, Боже, когда она открывала рот, когда она надевала свои платья, свои ужасающие шляпы! Он вспомнил, как он взял ее с собой в Париж. Через неделю ее пришлось отослать назад. «Тебе следует ходить в наморднике, Дженни, – сказал он, и Дженни разревелась. – Тебе не следовало ехать в Париж, – продолжал он. – В Париже слишком много солнца, слишком много огней. В следующий раз мы отправимся на Шпицберген. Зимой. Ночь продолжается там шесть месяцев».

От этих слов она заревела еще громче.

В этой девушке таились неисчерпаемые богатства красоты и чувственности. Потом она стала пить и совсем опустилась. Она попрошайничала и пропивала милостыню. В конце концов то, что осталось от нее, умерло. Но настоящая Дженни сохранилась здесь, на полотне, – ее поднятые руки, ее ясно очерченные грудные мышцы, приподнимавшие ее маленькие груди. То, что осталось от Джона Бидлэйка, от того Джона Бидлэйка, что жил двадцать пять лет назад, тоже было в картине. Другой Джон Бидлэйк, призрак прежнего, созерцал свою картину. Скоро и этот Бидлэйк перестанет существовать. Да и настоящий ли это Бидлэйк? Разве опухшая от пьянства женщина, которая умерла, была настоящей Дженни? Настоящая Дженни живет среди жемчужных купальщиц. А настоящий Бидлэйк, их творец, продолжает жить в своих творениях.

– Хорошо, – повторил он с горечью, заканчивая разбор. И лицо его, смотревшее на картину, было грустным. – Но в конце концов, – добавил он после небольшого молчания, раздражаясь деланным смехом, – в конце концов все, что я пишу, хорошо, чертовски хорошо. – Он бросал вызов тупоумным критикам, усматривавшим в его последних вещах упадок творческих сил, он бросал вызов собственному прошлому, времени и старости, вызов настоящему Бидлэйку, который писал настоящую Дженни и поцелуями принуждал ее к молчанию.

– Конечно, хорошо, – сказала Люси, а про себя подумала: почему последние вещи старика так плохи? Последняя выставка являла жалкое зрелище. Сам он выглядит сравнительно молодым. Хотя, конечно, решила она, посмотрев на него, он очень постарел за последние месяцы.

– Конечно, – повторил он. – Ничего иного не скажешь.

– Должна признаться, однако, – добавила Люси, чтобы переменить тему, – что мне ваша картина всегда казалась оскорбительной.

– Оскорбительной?

– Да, для женщин. Неужели мы, по-вашему, действительно такие безнадежные дуры, какими вы нас изображаете?

– Да, неужели мы, по-вашему, действительно такие? – вступил в разговор чей-то голос. Голос был громкий и выразительный, слова вылетали порывисто, резко, как будто выталкиваемые давлением эмоций сквозь узкое отверстие.

Люси и Джон Бидлэйк обернулись и увидели миссис Беттертон, массивную, в темно-сером платье; ее руки, подумал Бидлэйк, похожи на ляжки, а завитые каштановые волосы в сочетании с мясистыми щеками и тройным подбородком казались до смешного короткими. Ее вздернутый нос, бывший таким очаровательным в те дни, когда они вместе катались верхом – он на вороном коне, а она на гнедом, – теперь выглядел нелепо и до крайности неуместно на этом пожилом лице. Настоящий Бидлэйк ездил с ней верхом незадолго до того, как он написал купальщиц. Она говорила об искусстве с наивной серьезностью школьницы; эта серьезность казалась ему забавной и очаровательной. Он вспомнил, как излечил ее от страсти к Бёрн-Джонсу; к сожалению, излечить ее от пагубной склонности к добродетели ему так и не удалось. Теперь она обращалась к нему с прежней серьезностью, и тон ее был сентиментально-многозначительным, как у того, кто вспоминает старое время и не прочь обменяться мыслями и воспоминаниями. Бидлэйку пришлось делать вид, что встреча с ней после стольких лет доставляет ему удовольствие. Удивительное дело, подумал он, пожимая ей руку, как это он ухитрился все эти годы не встречаться с ней: он говорил с ней не больше трех-четырёх раз за все эти четверть века, превратившие Мэри Беттертон в *memento mori*¹¹.

– Дорогая миссис Беттертон! – воскликнул он. – Как я рад! – Но ему плохо удалось скрыть свое отвращение. А когда она назвала его по имени: «А теперь, Джон, отвечайте нам на вопрос» – и положила руку на плечо Люси, словно та тоже присоединилась к ее просьбе, старый Бидлэйк просто возмутился. Фамильярность со стороны *memento mori* невыносима. Он ее прочит. Тема прекрасно подходила для этого: она вызывала на нелюбезный ответ. Мэри Беттертон была особа с претензиями на интеллектуальность и постоянно твердила о душе. Вспомнив это, старик Бидлэйк объявил, что он никогда не встречал женщины, обладавшей чем-нибудь достойным внимания, если не считать ног и фигуры. «А некоторые женщины, – добавил он многозначительно, – не обладают даже этими необходимыми качествами». Конечно, у многих женщин интересные лица; но это ничего не значит. У ищеек, напомнил он, вид такой, точно они ученые юристы; быки, пережевывающие жвачку, производят такое впечатление, точно они размышляют над философскими проблемами; богомол выглядит так, точно он молится. Но наружность во всех этих случаях обманчива. То же и с женщинами. Он решил написать купальщиц не только без одежд, но и без масок; наделить их лицами, являющимися продолжением

¹¹ Помни о смерти (лат.).

их прекрасных тел, а не лживыми символами несуществующей духовности. Это казалось ему более реалистичным, более соответствующим истине. По мере того как он говорил, к нему возвращалось хорошее настроение; неприязнь к Мэри Беттертон проходила. Когда человек чувствует себя бодро, *memento mori* перестает напоминать ему о смерти.

– Вы неисправимы, Джон, – снисходительно сказала миссис Беттертон. Она с улыбкой обратилась к Люси: – Но он сам не верит ни одному своему слову.

– Я думаю, что он, наоборот, говорит вполне серьезно, – возразила Люси. – Я заметила, что те мужчины, которые больше всего любят женщин, относятся к ним с наибольшим презрением.

Бидлэйк расхохотался.

– Потому что они знают женщин лучше, чем кто бы то ни было.

– А может быть, потому, что они больше, чем кто бы то ни было, чувствуют нашу силу.

– Уверяю вас, – настаивала миссис Беттертон, – он шутит. Я знала его раньше, чем вы родились, дорогая.

Веселость исчезла с лица Джона. *Memento mori* снова оскалилось из-за расплывающегося лица Мэри Беттертон.

– Может быть, тогда он был другим, – сказала Люси. – Вероятно, он заразился цинизмом от молодого поколения. Наше общество опасно, дядя Джон. Будьте осторожны.

Это был один из любимых коньков миссис Беттертон. Та немедленно поскакала на нем во весь опор.

– Все дело в воспитании, – заявила она. – Детей воспитывают теперь ужасно нелепо. Ничего удивительного, что они вырастают циниками. – Она говорила красноречиво. – Детям слишком рано позволяют слишком многое. Они пресыщаются развлечениями, привыкают ко всем удовольствиям с пеленок. Я до восемнадцати лет ни разу не была в театре, – гордо заявила она.

– Бедняжка!

– Я хожу в театр с шести лет, – сказала Люси.

– А танцы! – ораторствовала миссис Беттертон. – Бал в день открытия охоты – какое это было событие! Потому что он бывал только раз в год. – Она процитировала Шекспира:

Нам праздники, столь редкие в году,
Несут с собой тем большее веселье.
И редко расположены в ряду
Других камней алмазы ожерелья.

А теперь они нанизаны, как жемчужины на нитке.

– К тому же поддельные, – сказала Люси.

Миссис Беттертон торжествовала:

– Вот видите! А для нас они были настоящими, потому что они были редки. Для нас не «притуплялось острое редких удовольствий», потому что они не были повседневными. Теперешняя молодежь испытывает скуку и усталость от жизни, еще не достигнув зрелости. Когда удовольствие повторяется слишком часто, перестаешь его воспринимать как удовольствие.

– Какое же лекарство вы предлагаете? – осведомился Джон Бидлэйк. – Если мне как члену конгрегации разрешено будет задать вопрос, – иронически добавил он.

– Шалунишка! – воскликнула миссис Беттертон с устрашающей игривостью. Затем, переходя на серьезный тон: – Лекарство одно: поменьше развлечений.

– Но я не хочу, чтобы их было меньше, – возразил Джон Бидлэйк.

– В таком случае, – сказала Люси, – они должны становиться все острее.

– Все острее? – повторила миссис Беттертон. – Но до чего мы тогда дойдем?

– До боя быков? – высказал предположение Джон Бидлэйк. – Или до сражений гладиаторов? Или, может быть, до публичных казней? Или до забав маркиза де Сада? Кто знает?

Люси пожала плечами:

– Кто знает?

Хьюго Брокл и Полли уже ссорились.

– По-моему, это безобразие, – говорила Полли, и ее лицо покраснело от гнева, – вести войну против бедных.

– Но Свободные Британцы не ведут войны против бедных.

– Нет, ведут.

– Нет, не ведут, – сказал Хьюго. – Почитайте речи Уэбли.

– Я читаю только о его действиях.

– Но они не расходятся с его словами.

– Расходятся.

– Нет, не расходятся. Он борется только против диктатуры одного класса.

– Класа бедных.

– Любого класса, – серьезно настаивал Хьюго. – В этом – вся задача. Классы должны быть одинаково сильными. Сильный рабочий класс, требующий повышения заработной платы, побуждает буржуазию к активности.

– Как блохи собаку, – заметила Полли и засмеялась; к ней вернулось хорошее настроение. Когда ей приходило в голову что-нибудь очень смешное, она никак не могла удержаться и не высказать этого, даже когда она была настроена серьезно или, как в данном случае, когда она злилась.

– Ей так или иначе придется быть изобретательной и прогрессивной, – продолжал Хьюго, изо всех сил стараясь выразить свою мысль как можно ясней. – Иначе она не сумеет платить рабочим, сколько они требуют, и в то же время извлекать прибыль. А с другой стороны, сильная и разумная буржуазия только полезна для рабочих, потому что она обеспечивает правильное руководство и правильную организацию. В результате рабочие имеют более высокий заработок и живут в мире и довольстве.

– Аминь, – сказала Полли.

– Следовательно, диктатура одного класса – нелепость, – продолжал Хьюго. – Уэбли хочет не уничтожить классы, а укрепить их. Он хочет, чтобы они жили в состоянии постоянного напряжения: каждый тянет в свою сторону, и в государстве устанавливается равновесие. Ученые говорят, что так работают органы нашего тела. Они живут в состоянии, – он замаялся, он покраснел, – враждебного сожительства.

– Крепко сказано!

– Простите, – извинился Хьюго.

– Все равно, – сказала Полли, – он против стачек.

– Потому что стачки – это глупость.

– Он против демократии.

– Потому что при ней к власти приходят негодные элементы. Он хочет, чтобы правили лучшие.

– Он сам, например, – саркастически сказала Полли.

– Ну так что ж? Если бы вы только знали, какой он замечательный человек! – Хьюго становился восторженным: последние три месяца он был одним из адъютантов Уэбли. – Таких людей я еще никогда не встречал.

Полли с улыбкой слушала его излияния. Она чувствовала себя гораздо более взрослой, чем он. В школе она так же относилась к преподавательнице домашнего хозяйства и говорила о ней в таком же тоне. И все-таки его преданность вождю нравилась ей.

V

Воображению Уолтера Бидлэйка званые вечера представлялись джунглями с бесчисленными деревьями и свисающими лианами. Джунглями звуков. Ему казалось, что он заблудился в джунглях, что он пробивает себе дорогу сквозь переплетающуюся растительность. Люди были корнями деревьев, их голоса – стеблями и качающимися ветками и фестонами лиан – да, а также попугаями и болтливыми мартышками.

Деревья достигали потолка и с потолка снова спускались к полу, подобно манглиям. Но в этом зале, подумал Уолтер, так странно сочетавшем в себе римский внутренний двор и тропическую оранжерею ботанического сада, ростки звуков, подымаясь без помех на высоту трех этажей, должны были бы стать настолько крепкими, что тонкая стеклянная крыша, отделявшая их от внешнего мира, разлетелась бы под их напором. Он представлял себе, как они все растут и растут, подобно волшебному бобовому стеблю Джека Победителя Великанов. Они подымаются все выше, обремененные орхидеями и разноцветными какаду, все выше сквозь вечный туман Лондона в прозрачно-лунный свет. Он видел, как последние воздушные побеги звуков развеваются в лунном свете. Например, эти взрывы хохота, этот громкий смех толстяка слева от него, подымаясь вверх и все утончаясь, там, под луной, он превратился в нежный звон. А все эти голоса (что они говорят?.. «замечательная речь...»; «...вы себе представить не можете, до чего удобны эти резиновые бандажи...»; «такая скучища...»; «сбежала с шофером...»), все эти голоса – какими прелестными и тонкими станут они там, наверху! Но здесь, внизу, в джунглях... Какие они громкие, глупые, вульгарные, бессмысленные!

Взглянув поверх голов окружавших его гостей, он увидел Франка Иллиджа, стоявшего одиноко, прислонясь к колонне. Поза и улыбка у него были байронические, одновременно разочарованные и презрительные; он смотрел вокруг с ленивым любопытством, словно наблюдая проделки мартышек. К сожалению, подумал Уолтер, пробираясь к нему сквозь толпу, внешние данные бедного Иллиджа отнюдь не соответствуют его байронической позе. Презрительные романтики должны быть высокими, медлительными, изящными и красивыми. Иллидж был низенький и суетливый, движения у него были порывистые. А какое смешное лицо! Вздернутый нос, рот до ушей: лицо очень смышленного и забавного уличного мальчишки, вовсе не подходящее для того, чтоб выражать томное презрение. Кроме того, к байроническому выражению совсем не идут веснушки, а лицо Иллиджа было усеяно ими. Песочно-карие глаза, песочно-рыжие ресницы и брови сливались благодаря своей окраске с кожей, как лев сливается с окружающей его пустыней. Даже на небольшом расстоянии его лицо казалось лишенным черт и лишенным взгляда, как лицо статуи, высеченной из песчаника. Бедный Иллидж! В роли Байрона он был просто смешон!

– Хэлло, – сказал Уолтер, подойдя к нему. Они обменялись рукопожатием. – Как ваша наука? – «Какой нелепый вопрос!» – подумал Уолтер, произнося эти слова.

Иллидж пожал плечами.

– Судя по сегодняшнему вечеру, она менее в моде, чем искусство. – Он поглядел по сторонам. – Сегодня тут чуть что не половина писателей и художников из соответствующего раздела «Кто есть кто». Тут просто смердит искусством.

– Тем лучше для науки, – сказал Уолтер. – Представители искусства вовсе не стремятся быть в моде.

– Ах, разве? Так зачем же *вы* здесь?

– В самом деле, зачем? – Уолтер ответил на вопрос смехом. Он оглянулся, ища взглядом Люси. Он еще не видел ее с тех пор, как кончился концерт.

– Вы приходите сюда, чтобы стоять на задних лапках и чтобы вас за это гладили по головке, – сказал Иллидж, пытаясь вернуть себе самоуверенность. Воспоминания о том, как

он чуть не растянулся на ступеньках, как леди Эдвард проявила полнейшее равнодушие к тритонам, как оскорбительно обошелся с ним генерал, все еще саднили. – Только взгляните на девушку с темными кудряшками в серебристом платьице, похожую на белокожую негритяночку. Как вы ее находите? Ну разве не приятно, чтобы такая погладила тебя по головке, а?

– Вы считаете?

Иллидж расхохотался.

– Право, вы сегодня уж слишком возвышенно и философски настроены. Но, дорогой мой, все это чушь. Сам этим увлекался, так что кому уж лучше знать... Сказать по правде, завидую вам, торговцам искусством, и вашим успехам. Я прямо-таки бешусь, как увижу какого-нибудь безмозглого, полоумного писателишку...

– Меня, например.

– Нет, вы рангом чуть повыше, – снизошел Иллидж, – но когда я вижу какого-нибудь жалкого писаку раз в десять глупее меня – как он гребет денежки, а над ним кудахчут, в то время как на меня никто и не взглянет, – я просто лопаюсь от злости.

– Воспринимайте это как комплимент. Если б кудахтали над вами, это означало бы, что в какой-то мере понимают ваши стремления. Вас же не понимают, потому что вы на голову выше остальных. Пренебрежение общества – комплимент вашему уму.

– Может быть, может быть. Но это и пощечина моему телу. – Иллидж болезненно переживал свою внешность. Он знал, что дурен собой и непрезентабелен. И ему нравилось растравлять свою рану, наподобие того как человек с больным зубом то и дело ощупывает источник боли, просто чтобы убедиться, что место болезненно. – Если бы я выглядел как эта дубина Уэбли, не стали бы они меня презирать, будь я даже умнее Ньютона. Дело в том, – на этот раз он решил посильнее нажать на больной зуб, – что я похож на анархиста. Вам-то повезло, сами знаете. Вы вылитый джентльмен или, на худой конец, художник. Вы и представить себе не можете, как досадно быть похожим на интеллектуала из низов. – Зуб чутко реагировал на нажатие. Иллидж надавил еще сильнее: – Женщины не обращают на тебя внимание – *такие* женщины, во всяком случае. Полицейские же проявляют к тебе повышенное внимание, ты почему-то вызываешь их любопытство. Можете себе представить, меня уже дважды арестовывали просто потому, что я похож на изготовителя адских машин!

– Неплохой сюжетец, – усмехнулся Уолтер.

– Нет, правда, клянусь вам. Однажды здесь, в Англии. Около Честерфилда. Там была стачка шахтеров. Случилось так, что я наблюдал за схваткой между бастующими и штрейкбрехерами. Полицейским не понравилось мое лицо, и меня сцапали. Только спустя несколько часов удалось мне вырваться из их когтей. Другой раз – в Италии. Кажется, кто-то попытался подложить бомбу под Муссолини. Как бы там ни было, свора бандитов-чернорубашечников заставила меня сойти с поезда в Генуе и обыскала с ног до головы. А все потому, что лицо у меня как у ниспровергателя устоев.

– Что ж, оно соответствует вашим убеждениям.

– Верно. Но лицо не может быть свидетельством. Лицо само по себе не является преступлением. Хотя, впрочем, – добавил он как бы в скобках, – некоторые лица таки преступления. Вы знаете генерала Нойля? – (Уолтер кивнул.) – Так вот его лицо требует высшей меры наказания. Самое меньшее, что заслуживает такой человек, так это смерть через повешение. Господи, так и убил бы их всех! – Разве он не поскользнулся на ступенях, разве не получил щелчок от этого мясника? – Как я ненавижу богатых! Ненавижу! Как они ужасны, ведь правда же?

– Более ужасны, чем бедные? – Воспоминание о комнате, где лежал умирающий Уэзерингтон, заставило его тут же устыдиться этого вопроса.

– Несомненно. Есть в этих богачах что-то особенно низкое, недостойное, болезненное. Деньги, как гангрена, порождают своего рода бесчувственность. Неизбежно. Иисус понимал это. Утверждение про верблюда и игольное ушко – непреложная истина. А помните другое

место – про соседа или ближнего своего? Вы, пожалуй, вообразите, что я верующий, – вставил он как бы в скобках извиняющимся тоном. – Но будем объективны. Этот человек был умен и умел разбираться в людях. Добрососедство – вот краеугольный камень, и оно выдает богатых с головой. У богатей нет соседей.

– Что же они – отшельники, черт возьми?

– У них нет соседей в том смысле, в каком они есть у бедных. Когда моей матери нужно было выйти, миссис Крэдок из соседнего дома направо приглядывала за нами, детьми. А моя мать делала для нее то же самое, когда миссис Крэдок нужно было выйти. А если кто-нибудь ломал ногу или оставался без работы, люди помогали ему едой и деньгами. Я прекрасно помню, как мальчишкой бежал по деревне за повитухой, так как у молоденькой миссис Фостер, жившей слева от нас, начались преждевременные роды. Когда приходится жить меньше чем на четыре фунта в неделю, волей-неволей станешь хорошим христианином и будешь любить своего соседа! Во-первых, вы не можете от него избавиться: он практически у вас на заднем дворе. Никакое утонченное философическое игнорирование его существования не поможет. Вы должны либо любить, либо ненавидеть его; и в целом вы склоняетесь к любви, потому что вам может понадобиться в случае крайней необходимости его помощь, а ему – ваша, и зачастую такая срочная, что не может быть и речи о том, чтобы в ней отказать. А раз вы *должны* помогать, то, коль в вас есть человечность, вы и будете помогать, и тогда уж лучше заставить себя любить человека, которому все равно вы должны помогать.

– Безусловно, – кивнул Уолтер.

– Но если вы богаты, у вас и соседей-то настоящих нету, – продолжал его собеседник. – Вы сами не привыкли к добрососедским поступкам и не ожидаете их от соседей. Да такие поступки и не нужны. У вас достаточно денег, чтобы оплатить службу. Вы можете нанять лакея, который будет проявлять доброту за стол и три фунта в месяц. И миссис Крэдок из соседнего дома не нужно присматривать за вашими детьми, когда вы уходите из дому. У вас есть няньки и гувернантки, которые будут делать это за деньги. Да вы обычно даже и не подозреваете о существовании своих соседей. Вы живете на расстоянии, каждый как бы незримо замкнут в своем доме. За дверьми могут происходить трагедии, но люди из соседнего дома даже и не подозревают об этом.

– И слава Богу! – вырвалось у Уолтера.

– Конечно, слава Богу! Независимая личная жизнь – это роскошь. Приятно, не спору. Но за роскошь надо платить. Людей не трогают несчастья, о существовании которых они не подозревают. Незнание порождает блаженное бесчувствие. В бедном квартале несчастья не скроешь. Жизнь слишком у всех на виду. Люди все время упражняют свои добрососедские чувства. Но у богатых нет даже повода проявить добрососедство к людям своего круга. В лучшем случае они могут посюсюкать над страданиями бедняков, которых они никогда не смогут понять, да проявить благотворительность. Ужасно! И это в лучшем случае. А в худшем, – он указал рукой на толпу гостей, – они, как леди Эдвард, – низший круг ада! Они, как ее дочь... – Он скривил губы и пожал плечами.

Уолтер слушал с болезненно-напряженным вниманием.

– Развратная, разложившаяся, неисправимо испорченная, – возглашал Иллидж тоном обличителя. Он только раз случайно обменялся несколькими словами с Люси Тэнтамаунт. Она едва удостоила его заметить.

Да, это так, думал Уолтер. Она заслуживала все то, что с завистью или недоброжелательством говорилось о ней, и все же она – самое чудесное и обаятельное существо в мире. Он знал, что все, что о ней говорят, – правда, и мог без возмущения все это выслушивать. И чем

ужасней было то, что о ней говорили, тем больше он любил ее. *Credo quia absurdum. Amo qui turpe, quia indignum*¹².

– Какая гниль! – продолжал ораторствовать Иллидж. – Типичный продукт нашей восхитительной цивилизации – вот что она такое. Утонченная и надушенная имитация дикаря или животного. Вот к чему приводит изобилие денег и свободного времени.

Уолтер слушал, закрыв глаза, думая о Люси. «Надушенная имитация дикаря или животного». Да, это так, и тем большее были для него эти слова; но за все это и за то, что он страдал от этого, он любил ее еще сильнее.

– Ну, – сказал Иллидж другим тоном, – мне пора идти: может быть, Старику вздумается еще поработать сегодня ночью. Обычно мы кончаем не раньше половины второго или двух. Надо сказать, мне нравится жить так – шиворот-навыворот: спать до обеда, работать после чая. В самом деле нравится. – Он протянул руку: – Пока.

– Давайте пообедаем вместе как-нибудь вечером, – сказал Уолтер без особенной настойчивости.

Иллидж кивнул головой.

– Отлично. Сговоримся на один из ближайших дней, – сказал он и ушел.

Уолтер стал пробираться сквозь толпу в поисках Люси.

Затащив лорда Эдварда в угол, Эверард Уэбли убеждал его оказать поддержку Свободным Британцам.

– Но я не интересуюсь политикой, – сипло протестовал Старик. – Я не интересуюсь политикой... – Он с упрямством мула повторял эти слова в ответ на все, что говорил ему Уэбли.

Уэбли был красноречив. Люди доброй воли, люди, имеющие вес в стране, должны сплоченными рядами встать против сил разрушения. Под угрозой находится не только частная собственность, не только материальное благополучие класса, но и английские традиции, и личная инициатива, и культурность, и все, что отличает цвет нации от толпы. Свободные Британцы вооруженной рукой защищают человеческую личность от толпы, от черни; они борются за признание естественного превосходства во всех областях. Врагов много, и они не дремлют.

Но тот, кто предвидит опасность, тот сумеет ее отразить: когда вы видите, что на вас готовится напасть шайка бандитов, вы принимаете боевой порядок, вы обнажаете мечи. (Уэбли питал слабость к мечам: он носил меч на парадах Свободных Британцев, его речи пестрели упоминаниями о мечах, его дом был весь разукрашен оружием.) Необходимы организованность, дисциплина, сила. Конституционные методы отжили свой век. Парламентская борьба имеет смысл лишь тогда, когда противники согласны между собой в основных положениях и расходятся только в частностях. Но когда на карту поставлены основные положения, нельзя ограничиваться в политике парламентской игрой: необходимо прибегнуть к угрозе и к прямому действию.

– Пять лет я провел в парламенте, – говорил Уэбли. – Достаточно для того, чтобы убедиться, что в наши дни парламентскими методами ничего не достигнешь. С таким же успехом можно пытаться болтовней потушить пожар. Только прямое действие может спасти Англию. Когда мы ее спасем, тогда можно будет снова подумать о парламенте. Но он не будет похож на теперешнее смехотворное сборище выбранных чернью богачей. А пока мы должны готовиться к борьбе. Если мы будем готовы к борьбе, мы сумеем победить, не обнажая оружия. Это – единственный выход. Верьте мне, лорд Эдвард, это – единственный выход.

Свирепея, как затравленный собаками медведь, лорд Эдвард всем телом поворачивался то в одну сторону, то в другую.

– Но я не интересуюсь по... – Он был так взволнован, что не мог докончить слова.

¹² Верю, потому что нелепо. Люблю то, что ненавижу, что презираю (*лат.*).

– Даже если вы не интересуетесь политикой, – вкрадчиво продолжал Уэбли, – вы обязаны интересоваться вашим состоянием, вашим положением, будущим вашей семьи. Не забывайте, что при всеобщем разрушении все это погибнет.

– Да, но... нет... – Лорд Эдвард был в полном отчаянии. – Я... я... не интересуюсь деньгами.

Однажды, много лет тому назад, глава нотариальной конторы, которой он доверил все свои дела, невзирая на требование лорда Эдварда никогда не беспокоить его деловыми вопросами, явился, чтобы посоветоваться со своим клиентом относительно каких-то вложений. Речь шла о кругленькой сумме в восемьдесят тысяч фунтов. Лорда Эдварда оторвали от уравнений, лежащих в основе статистики живого организма. Когда он узнал, по какому ничтожному поводу его побеспокоили, обычно мягкий Старик рассвирепел до неузнаваемости. Мистер Фиггис, человек с громким голосом и самоуверенными манерами, привык, чтобы все делалось по его советам. Гнев лорда Эдварда изумил и напугал его. Казалось, под влиянием гнева в Старике атавистически заговорило его феодальное прошлое, и он вдруг вспомнил, что он – Тэнтемаунт, разговаривающий с наемным слугой. Он отдал приказание, это приказание было нарушено: его побеспокоили вопреки его запрету. Он этого не потерпит. Если подобная вещь повторится, он передаст свои дела другому нотариусу. С этими словами он пожелал мистеру Фиггису всего наилучшего.

– Я не интересуюсь деньгами, – говорил он теперь.

Иллидж, бродивший поблизости, дожидаясь случая заговорить со Стариком, услышал это замечание и внутренне расхохотался. «Ох, уж эти богачи! – подумал он. – Черт бы их всех побрал! Все они на один лад!»

– Если вас не интересует ваше собственное будущее, – настаивал Уэбли, переменяя фронт, – подумайте по крайней мере о будущем цивилизации, о прогрессе.

Эти слова задели лорда Эдварда за живое. Они надавили скрытую пружину, освободившую всю его энергию.

– Прогресс! – повторил он. От его смущения и его растерянности не осталось и следа, теперь он говорил уверенным и решительным тоном. – Прогресс! Вы, политики, только о нем и говорите. Словно он будет продолжаться вечно. Еще больше автомобилей, еще больше детей, еще больше пищи, еще больше рекламы, еще больше денег, еще больше всего, и так до бесконечности. Биологией вам надо заняться, вот что! Физической биологией. Прогресс, как же! А скажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать с фосфором? – Вопрос звучал как обвинение по адресу его собеседника.

– Но это вовсе не относится к делу, – нетерпеливо сказал Уэбли.

– Наоборот, – возразил лорд Эдвард, – это и есть настоящее дело. – Его голос стал громким и суровым. Он говорил гораздо более связно, чем обычно. Говоря о фосфоре, он стал другим человеком: он глубоко переживал проблему фосфора, он сильно чувствовал и поэтому сам стал сильным. Затравленный медведь перешел в нападение. – При ваших интенсивных методах возделывания почвы, – продолжал он, – вы просто выкачиваете из нее фосфор. Более полупроцента в год на чисто уходит из кругооборота. А фосфор в сточных водах! Выливаете миллион тонн пятиоксида фосфора в море. И это вы называете прогрессом! Посмотрите на нашу современную систему канализации. – Глубочайшее презрение слышалось в его голосе. – Вы обязаны возвращать фосфор в землю, из которой вы его взяли. – Лорд Эдвард погрозил ему пальцем и нахмурился. – В землю. Понятно?

– Но какое мне дело до всего этого? – возражал Уэбли.

– В этом-то все несчастье, – сурово ответил лорд Эдвард, – что вам, политикам, нет ни до чего дела. Вы даже не думаете о таких важных вещах. Кричите о прогрессе, о голосовании, о большевизме, а тем временем каждый год целый миллион тонн пятиоксида фосфора уходит в море. Это идиотство, это преступление, это... это все равно что играть на лире, когда горит

Рим. – Заметив, что Уэбли открывает рот, он поспешил заранее ответить на его предполагаемые возражения. – Конечно, – сказал он, – вы скажете, что у нас есть фосфориты. Ну хорошо. А когда их месторождения будут истощены? – Он ткнул пальцем в манишку Эверарда. – Что? Когда пройдет каких-нибудь двести лет и они истощатся? Вам кажется, что мы прогрессируем, а на самом деле мы расточаем капитал. Хищническое использование фосфатов, угля, нефти, азота – вот ваша политика. А тем временем вы стараетесь запугать нас разговорами о революции.

– Черт возьми, – сказал Уэбли, наполовину сердясь, наполовину забавляясь, – ваш фосфор подождет. Нам угрожает другая, более близкая опасность. Скажите: вы хотите, чтобы произошла политическая и социальная революция?

– Даст она нам сокращение населения и контроль над производством? – спросил лорд Эдвард.

– Разумеется.

– В таком случае – да, я хочу, чтобы произошла революция. – Старик мыслил как биолог и не боялся логических выводов. – Разумеется. – Иллидж едва удержался от смеха.

– Ну, если такова ваша точка зрения... – начал Уэбли, но лорд Эдвард прервал его.

– Единственным результатом вашего прогресса, – сказал он, – будет то, что через несколько поколений произойдет настоящая революция – я хочу сказать, естественная, космическая революция. Вы нарушаете равновесие. И в конечном счете природа восстановит его. Вам будет очень не по себе при этом. Ваше падение займет еще меньше времени, чем ваш подъем. Благодаря хищническому использованию капитала вы окажетесь банкротами. Чтобы реализовать свои ресурсы, самому богатому человеку нужно очень немного времени. Но когда они реализованы, на то, чтобы умереть голодной смертью, времени нужно еще меньше.

Уэбли пожал плечами.

«Сумасшедший старый дурак!» – подумал он; вслух он сказал:

– Параллельные линии никогда не сходятся, лорд Эдвард. Поэтому разрешите откланяться. – Он пошел прочь.

Через несколько мгновений Старик и его ассистент подымались по торжественной лестнице в свой собственный замкнутый мир.

– Какое счастье! – сказал лорд Эдвард, открывая дверь лаборатории. Он с наслаждением вдохнул легкий запах чистого спирта, в котором плавали анатомические препараты. – Эти званые вечера! Как приятно вернуться к науке. И все-таки музыка была в самом деле... – Его восхищение было нечленораздельным.

Иллидж пожал плечами.

– Званые вечера, музыка, наука – все это развлечения для обеспеченных. Платите денежки и выбирайте на свой вкус. Самое важное – это иметь деньги. – Он как-то неприятно рассмеялся.

Иллиджа возмущали добродетели богачей гораздо сильнее, чем их пороки. Чревоугодие, лень, распушенность, да и все другие менее пристойные производные праздности и независимого дохода еще можно было простить именно вследствие того, что они были позорными. Но духовность, нестяжательство, порядочность, утонченность чувств и вкусов – всеми этими качествами полагалось восхищаться; и именно поэтому он особенно их ненавидел. Ведь, согласно Иллиджу, эти добродетели были таким же фатальным порождением богатства, как пьянство или завтрак не раньше одиннадцати.

Иллидж считал, что буржуа только и знают, что возносят друг другу хвалы за бескорыстие. То есть за то, что у них есть на что жить, и потому они могут не работать и не думать о деньгах. Вот и расхваливают себя за то, что они могут отказаться от платы. И еще за то, что у них достаточно денег, чтобы создать себе утонченно-культурную обстановку. И еще за то, что у них есть лишнее время и они могут тратить его на чтение книг, созерцание картин и на

сложные, изощренные формы любви. Почему они не могут сказать просто и прямо, что все их добродетели основаны на облигациях пятипроцентного государственного займа?

Слегка насмешливая нежность, с которой Иллидж относился к лорду Эдварду, умерялась досадой при мысли о том, что все интеллектуальные и нравственные качества Старика, все его милые чудачества возможны лишь благодаря возмутительно благополучному состоянию его текущего счета. И это подспудное неодобрение становилось отчетливым каждый раз, когда он слышал, как другие восхищаются лордом Эдвардом, одобряют его или даже посмеиваются над ним. Смех, одобрение и восхищение разрешались только ему самому, потому что он-то понимал и мог прощать. Другие же люди даже не догадывались, что здесь есть что прощать. Иллидж всегда торопился объяснить им это.

«Если бы предки Старика не были разбойниками и не грабили монастырей, – говорил он его поклонникам, – он бы давно попал в работный дом или в больницу для умалишенных».

И все же он искренно любил Старика, он искренно восторгался его способностями и его характером. Однако можно понять, что люди об этом не подозревали. «Несимпатичный» – таково было единодушное мнение об ассистенте лорда Эдварда.

Но если оставить в стороне неприязнь к богатым и неприязнь богатых, Иллидж считал и симпатию своей священной обязанностью. Он испытывал симпатию к своему классу, к обществу в целом, к будущему, к идее справедливости. Да и на Старика тоже оставалась малая толика. Но достаточно было ему хоть полсловечка сказать в защиту души (ведь лорд Эдвард питал, по выражению его ассистента, постыдную и противоестественную страсть к идеалистической метафизике), как Иллидж набрасывался на него с насмешками над философией капиталистов и религией буржуа. А стоило Старiku неодобрительно отозваться о тупоголовых дельцах, проявить безразличие к денежным обстоятельствам или симпатию к беднякам, как Иллидж принимался делать более или менее прозрачные, но всегда саркастические намеки на миллионы Тэнтемаунтов.

Бывали дни (из-за щелчка от генерала, из-за того, что он чуть не растянулся на ступеньках, сегодня, похоже, был именно такой день), когда даже обращение к чистой науке вызывало у него иронические замечания. Иллидж был энтузиастическим приверженцем биологии; но как гражданин с определенным классовым сознанием он не мог не признать, что чистая наука (как хороший вкус, как скука, извращения и платоническая любовь) – порождение богатства и праздности. Он не боялся быть последовательным и насмехаться даже над собственным идолом.

– Иметь деньги, – говорил он, – это самое важное.

Старик виновато смотрел на своего ассистента. Он чувствовал себя неловко от этих скрытых упреков. Он перевел разговор на другую тему.

– А как поживают наши жабы, – спросил он, – наши асимметрические жабы? – Они вывели партию жаб из икринок, которые чрезмерно подогревались с одного бока и охлаждались с другого. Он направился к стеклянной банке с жабами. Иллидж шел за ним.

– Асимметрические жабы! – повторил он. – Асимметрические жабы! Какая изощренность! Все равно что играть Баха на флейте или смаковать дорогие вина. – Он подумал о своем брате Томе, у которого были слабые легкие и который работал фрезеровщиком на машиностроительном заводе в Манчестере. Он вспомнил дни стирки и розовую потрескавшуюся кожу на распухших от соды руках своей матери. – Асимметрические жабы! – повторил он еще раз и рассмеялся.

– Не понимаю, – сказала миссис Беттертон, – как такой великий художник может быть таким циником. – В обществе Барлепа она предпочитала принимать слова Джона Бидлэйка всерьез. На тему о цинизме Барлеп говорил всегда очень возвышенно, а миссис Беттертон

навивалась возвышенность. Возвышенным он был и тогда, когда говорил о величии, а также об искусстве. – Вы ведь должны признать, – добавила она, – что он великий художник.

Барлеп медленно кивнул головой. Он не смотрел на миссис Беттертон: его взгляд был направлен в сторону и вниз, словно он обращался к какому-то маленькому существу, невидимому для всех, кроме него, которое стояло рядом с миссис Беттертон; может быть, это был его личный демон, эманация его собственного «я», маленький *Doppelgänger*¹³. Барлеп был человек среднего роста, немного сутулый и неуклюжий. У него были темные волосы, густые и курчавые, с естественной розовой тонзурой величиной в монету, серые, глубоко посаженные глаза, крупные, но красивые нос и подбородок и полный, довольно большой рот. Старый Бидлэйк, карикатурист не только на бумаге, но и на словах, говорил, что Барлеп – это помесь кинематографического злодея и святого Антония Падуанского в изображении какого-нибудь барочного художника или помесь шулера и святоши.

– Да, великий художник, – согласился он, – но не один из величайших. – Он говорил медленно, задумчиво, словно обращаясь к самому себе. Все его разговоры представляли собой диалоги с самим собой или с маленьким двойником, невидимо стоявшим рядом с теми людьми, к которым Барлеп обращался. По существу, Барлеп всегда разговаривал с самим собой. – Не один из величайших, – медленно повторил он. Как раз сегодня он закончил статью на тему об искусстве для очередного номера еженедельника «Литературный мир». – Именно по причине своего цинизма. – «Не знаю, – думал он, – удобно ли мне цитировать самого себя?»

– Как это верно! – Миссис Беттертон разразилась аплодисментами немножко преждевременно: она всегда готова была загореться энтузиазмом. Она сжала руки. – *Как верно!* – Она смотрела на лицо отвернувшегося Барлепа и находила его таким одухотворенным, таким по-своему красивым.

– Может ли циник быть великим художником? – продолжал Барлеп, решившись наконец выложить перед ней содержание своей статьи, с риском, что она узнает его слова, когда ближайший номер выйдет из печати. Но даже если она узнает, это не изгладит впечатления, которое произведут его слова сейчас. «А зачем тебе, собственно, производить впечатление? – вставил насмешливый чертенок. – Потому, что она богата и может быть тебе полезна, так, что ли?» Но чертенок был немедленно поставлен на свое место. «На тебе лежит огромная ответственность, – поспешно объяснил ангел. – Светильник не ставят под сосудом. Он должен светить всем, и особенно людям доброй воли». Миссис Беттертон была, без сомнения, человеком доброй воли; ее энтузиазм стоило подогреть. – Великий художник, – сказал он вслух, – это человек, синтезирующий весь наш жизненный опыт. Циник отрицает добрую половину этого опыта – душу, идеалы, Бога. Но ведь духовная жизнь для нас так же реальна и несомненна, как жизнь материальная.

– Конечно, конечно! – воскликнула миссис Беттертон.

– Бессмысленно отрицать как ту, так и другую. – «Бессмысленно отрицать меня», – сказал демон, просовывая голову в сознание Барлепа.

– Бессмысленно!

– Циник ограничивает свой жизненный опыт только одной половиной фактов, меньшей половиной, потому что факты духовной жизни более многочисленны, чем факты телесной жизни.

– Их бесконечно больше!

– В своей узкой области он может достигнуть большого мастерства. Возьмите, например, Бидлэйка. Он замечательный мастер. В своем творчестве он воплощает совершеннейшую технику современной живописи. Или по крайней мере воплощал.

¹³ Двойник (нем.).

– Да, воплощал, – вздохнула миссис Беттертон. – В первые годы нашего знакомства. – Она словно хотела сказать, что если он и писал когда-нибудь хорошо, то только под ее влиянием.

– Но свой гений он растрчивает на мелочи. В своем творчестве он синтезирует ограниченное, относительно несущественное.

– Именно это я всегда ему говорила, – сказала миссис Беттертон, в новом и более лестном для своей репутации свете интерпретируя тогдашние свои споры с Бидлэйком о прерафаэлитах. – Возьмите, например, Бёрн-Джонса, говорила я ему. – В ее ушах прозвучал оглушительный раблезианский хохот Джона Бидлэйка. – Я не говорю, конечно, что Бёрн-Джонс очень хороший художник, – поспешно добавила она. («Он пишет так, – говорил Джон Бидлэйк, глубоко шокируя и оскорбляя ее этими словами, – словно он никогда в жизни не видел голого зада».) – Но его темы благородны. Если бы у вас, говорила я, были *его* идеалы, были *его* мечты, вы стали бы *действительно* великим художником.

Барлеп кивнул и одобрительно улыбнулся. «Да она на стороне ангелов, – думал он, – она нуждается в поощрении. На мне лежит огромная ответственность». Демон подмигнул.

«В его улыбке, – рассуждала про себя миссис Беттертон, – есть что-то от портретов Леонардо и Содомы – что-то таинственное, тонкое, скрытое».

– Хотя, конечно, – продолжал Барлеп, пережевывая свою статью фразу за фразой, – в произведении искусства тема – это еще далеко не все. Уитьер и Лонгфелло были начинены высокими идеями. Но их стихи весьма посредственны.

– Как это верно!

– Единственное обобщение, на которое можно рискнуть, – это что величайшие произведения искусства были написаны на высокие темы и что произведение, тема которого незначительна, как бы совершенно оно ни было выполнено, никогда не достигает подлинной высоты совершенства.

– А вот и Уолтер, – прервала его миссис Беттертон. – Бродит, как нераскаянный дух. Уолтер!

Услышав, что его окликают, Уолтер обернулся. Боже милостивый – Беттертониха! И Барлеп! Он изобразил улыбку. Но миссис Беттертон и его коллега по «Литературному миру» меньше всего интересовали его в эту минуту.

– А мы как раз говорили о проблеме великого в искусстве, – объяснила миссис Беттертон. – Мистер Барлеп высказывал такие глубокие мысли! – И она принялась повторять Уолтеру все глубокие суждения Барлепа.

Уолтер пытался понять, почему Барлеп держал себя с ним так холодно, так замкнуто, почти враждебно. Иметь дело с Барлепом было нелегко. Никогда нельзя было понять, как он относится к вам. Он или любил, или ненавидел. Общение с ним было длинным рядом сцен: он вел себя или очень враждебно, или, что, с точки зрения Уолтера, было еще более утомительно, слишком нежно. Так или иначе, поток эмоций не переставал бурлить ни на минуту, не давая передохнуть в стоячей воде ровных отношений. Поток не стихал. Почему теперь он повернул в сторону враждебности?

Тем временем миссис Беттертон выкладывала глубокие суждения. Уолтер находил, что они очень похожи на некоторые абзацы из статьи Барлепа, которую он только сегодня корректировал перед отсылкой в типографию. Воссозданная в виде целой серии взрывов восторга на основании словесного воспроизведения самого Барлепа, статья звучала довольно глупо. Так вот оно что! Может быть, поэтому?.. Он взглянул на Барлепа. Лицо Барлепа окаменело.

– Пожалуй, мне пора идти, – резко сказал Барлеп, когда миссис Беттертон сделала паузу.

– Нет, что вы! – запротестовала она. – Почему?

Он сделал над собой усилие и улыбнулся своей улыбкой в стиле Содомы.

– Мирское слишком уж над нами тяготеет, – произнес он таинственно. Он любил произносить таинственные изречения, неожиданно вставляя их посреди разговора.

– Вот уж чего о вас никак не скажешь, – льстиво сказала миссис Беттертон.

– Все дело в толпе, – объяснил он. – Чуть-чуть побуду в толпе – и она начинает меня пугать. Я чувствую себя так, точно мою душу задавили насмерть. Если бы я остался, я начал бы рыдать. – И он распрощался.

– Какой замечательный человек! – воскликнула миссис Беттертон, когда он еще не успел отойти настолько, чтобы не слышать. – Какой вы счастливый, что работаете с ним!

– Он прекрасный редактор, – сказал Уолтер.

– Но я говорю о его *индивидуальности* – как бы это выразить? – о его духовном начале.

Уолтер кивнул головой и довольно неопределенно сказал «да»: он вовсе не склонен был приходить в восторг от духовного начала Барлепа.

– В наш век, – продолжала миссис Беттертон, – он настоящий оазис в пустыне легкомыслия и цинизма.

– У него бывают блестящие идеи, – осторожно согласился Уолтер.

Он думал о том, скоро ли ему удастся сбежать от нее.

– Вот Уолтер, – сказала леди Эдвард.

– Какой Уолтер? – спросил Бидлэйк. Подводные течения званого вечера снова свели их вместе.

– Ваш Уолтер.

– Ах, мой! – Хотя он не очень стремился увидеть своего сына, он посмотрел по направлению ее взгляда. – Как он вытянулся! – сказал он. Ему не нравилось, что его дети росли: вырастая, они оттесняли его на задний план, год за годом оттесняли к забвению и смерти. Вот Уолтер. Он родился совсем недавно, а сейчас мальчишке уже, наверное, двадцать пять лет.

– Бедняга Уолтер! Вид у него не блестящий.

– Такой вид, словно у него глисты, – свирепо сказал Бидлэйк.

– А как эта его печальная история? – спросила она.

– Все так же, – пожал плечами Бидлэйк.

– Я никогда не видела эту женщину.

– Зато я видел. Она ужасна.

– Что? Вульгарна?

– Нет, нет! Хуже: она так утонченна, так невероятно утонченна! А как она говорит! – Он заговорил, растягивая слова, тоненьким голоском, который должен был изображать голос Марджори: – Как маленькая невинная деточка. И она такая серьезная, такая культурная. – Он засмеялся своим раскатистым смехом. – Знаете, что она мне как-то сказала? Надо вам заметить, со мной она всегда говорит об искусстве. Искусстве с большой буквы, конечно. Она сказала, – здесь его голос снова перешел на младенческий фальцет: – «Мне кажется, можно любить одинаково Фра Анджелико и Рубенса». – Он снова разразился гомерическим смехом. – Какая дура! А нос у нее по крайней мере на три дюйма длинней, чем следует.

Марджори открыла шкатулку, в которой она хранила свои письма. Письма Уолтера. Она развязала ленточку и пересмотрела их все, одно за другим. «Дорогая миссис Карлинг, посылаю Вам томик писем Китса, о которых мы говорили сегодня. Прошу Вас, не трудитесь возвращать его мне: у меня есть другой экземпляр. И я перечту его, чтобы доставить себе удовольствие сопровождать Вас, хотя бы и на расстоянии, в Вашем духовном путешествии».

Это было его первое письмо. Она прочла его до конца, и в ее памяти воскресла та радость, которую вызвали тогда в ней эти слова о духовном путешествии. В разговорах он всегда избегал затрагивать личные темы, он был болезненно застенчив. Она не ожидала, что он станет писать так. Позднее, когда их переписка стала регулярной, она привыкла к его странностям. Она убедилась, что с пером в руке он гораздо смелей, чем лицом к лицу. Всю свою любовь – по

крайней мере когда она выражалась словами и когда в начале ухаживания он бывал сколько-нибудь пылок – он изливал в письмах. Это вполне удовлетворяло Марджори. Она готова была до бесконечности продолжать эту культурную и на словах пламенную любовь по почте. Ей нравилась самая идея любви, но любовники нравились ей только на расстоянии и в воображении. Заочный курс страсти казался ей идеальной формой отношений с мужчиной. Еще больше нравились ей личные отношения с женщинами, потому что женщины, даже при личном общении с ними, сохраняют все положительные свойства мужчины на расстоянии. Можно сидеть с женщиной в одной комнате, и она будет требовать от вас не больше того, что требует мужчина, находящийся на другом конце системы почтовых отделений. Уолтер, застенчивый в разговоре и страстный и смелый в письмах, сочетал, с точки зрения Марджори, все достоинства обоих полов. И сверх того, он проявлял такой глубокий, такой лестный интерес ко всему, что она делала, чувствовала и думала. Бедняжка Марджори не была избалована вниманием.

«Сфинкс», – прочла она в третьем письме. (Он называл ее так за ее загадочное молчание. Карлинг по той же причине звал ее Брюквой или Рыбой.) «Сфинкс, почему Вы прячетесь в скорлупу молчания? Можно подумать, что Вы стыдитесь своей доброты, нежности и чуткости. Но скрыть их Вам все равно не удастся».

Слезы подступили к ее глазам. Он так хорошо относился к ней, он был таким нежным и ласковым! А теперь...

«Любовь, – читала она сквозь слезы в следующем письме, – любовь превращает физическое желание в духовное: она обладает магическим свойством претворять тело в душу...»

Да, даже у него бывали *такие* желания. Даже у него. Вероятно, они бывают у всех мужчин. Как это отвратительно! Она вздрогнула, с ужасом вспоминая Карлинга, вспоминая даже Уолтера. Да, даже Уолтера, хотя он был таким милым и деликатным. Уолтер понимал ее. Тем удивительнее его теперешнее поведение. Он точно стал другим человеком, вернее – диким животным, животной-жестоким, животной-похотливым.

«Как он может быть таким жестоким? – спрашивала она себя. – Как он может быть намеренно жестоким, Уолтер?» Ее Уолтер, настоящий Уолтер, был такой мягкий, чуткий и деликатный, такой необычайно заботливый и добрый. Она полюбила его за его доброту и нежность, несмотря на то что он был мужчина и у него бывали *такие* желания; вся ее преданность была направлена на того нежного, заботливого, деликатного Уолтера, которого она узнала и оценила, когда они стали жить вместе. Она любила в нем даже слабости и недостатки, происходившие от деликатности; любила его даже за то, что он переплачивал шоферам и носильщикам, за то, что он пригоршнями раздавал серебро бродягам, рассказывавшим явно лживые истории о работе, ожидающей их в другом конце Англии, и об отсутствии денег на дорогу. Он с чрезвычайной готовностью становился на точки зрения других. В своем стремлении быть справедливым к другим он часто бывал несправедлив к самому себе. Он всегда предпочитал жертвовать своими правами, лишь бы не нарушать права других людей. Марджори понимала, что в таких случаях деликатность граничит со слабостью, становится пороком; к тому же эта деликатность происходила от робости, от того, что он был недотрогой и брезгливо уклонялся не только от всякого столкновения, но даже от всякого неприятного соприкосновения с людьми. И все-таки она любила его за это, любила даже тогда, когда от этого страдала она сама. Потому что, включив ее в свой собственный мирок, который он противопоставлял всему остальному миру, он стал приносить в жертву своей преувеличенной деликатности не только свои, но и ее интересы. Как часто говорила она ему, что его работа в «Литературном мире» оплачивается слишком низко! Она вспомнила их последний разговор на эту самую неприятную для него тему.

– Барлеп выжимает из тебя все соки, Уолтер, – сказала она.

– Журнал сейчас в очень затруднительном положении. – Он всегда находил, чем оправдать проступки других людей по отношению к себе.

– Но это еще не причина, чтобы тебя эксплуатировали.

– Никто меня не эксплуатирует. – Он говорил раздраженным тоном человека, чувствующего свою неправоту. – А если даже и так, пусть лучше меня эксплуатируют, но торговаться из-за своего фунта мяса я не буду. В конце концов, это мое дело.

– И мое тоже! – Она протянула тетрадь, в которую она вписывала расходы, когда у них начался разговор. – Если бы ты знал, как подорожали овощи!

Он покраснел и, не отвечая ей, вышел из комнаты. Подобные разговоры бывали у них нередко. Недоброе отношение к ней никогда не было у Уолтера намеренным; он поступал так только из чрезмерной деликатности по отношению к другим, да и то лишь тогда, когда он и к себе самому был недобр. Она никогда не сердилась на его несправедливое отношение к ней: оно доказывало только, как тесно связал он себя с ней. Но теперь, теперь от той невольной недоброты не осталось и следа. Мягкий и деликатный Уолтер исчез; какой-то другой человек, безжалостный, полный ненависти, намеренно причинял ей страдания.

Леди Эдвард рассмеялась.

– Если она действительно так безнадежна, интересно, что же он в ней нашел?

– А что мы вообще находим в тех, кого мы любим? – Голос Джона Бидлэйка был полон меланхолии. Он неожиданно почувствовал себя нехорошо – тяжесть в желудке, тошнота, икота. Последнее время это случалось нередко. И всегда после еды. Сода не помогала. – В этих случаях все мы одинаковые глупцы, – добавил он.

– Благодарю вас! – засмеялась леди Эдвард.

– О присутствующих не говорят, – пытаюсь быть галантным, сказал он с улыбкой и легким поклоном. Он снова подавил икоту. Как скверно он себя чувствует! – Вы не возражаете, если я сяду? – спросил он. – Все время на ногах... – И он тяжело опустился в кресло.

Леди Эдвард заботливо посмотрела на него, но ничего не сказала. Она знала, что он не выносит упоминаний о возрасте, болезни или физической слабости.

«Это, наверно, икра, – думал он. – Проклятая икра!» В эту минуту он остро ненавидел икру. Каждый осетр в Черном море был его личным врагом.

– Бедный Уолтер! – сказала леди Эдвард, возобновляя прерванный разговор. – А он такой талантливый.

Джон Бидлэйк презрительно фыркнул. Леди Эдвард поняла, что опять она сказала не то, что надо, на этот раз нечаянно, в самом деле нечаянно. Она переменила тему.

– А Элинора? – спросила она. – Когда возвращается Элинора с Куорлзом?

– Завтра выезжают из Бомбея, – лаконически ответил Джон Бидлэйк. Он был слишком занят мыслями об икре и о своих желудочных ощущениях, чтобы отвечать более подробно.

VI

– Индусы пили либерализм из ваших источников, – сказал мистер Сита Рам, цитируя одну из своих речей в законодательном собрании. И он показал пальцем на Филипа Куорлза, словно обвиняя его. Капли пота катились одна за другой по его коричневым, отвислым щекам; казалось, он оплакивает Матерь Индию. Одна капля, отливая в свете лампы всеми цветами радуги, как драгоценный камень, висела на кончике его носа. Когда он говорил, она сверкала и вздрагивала, словно разделяя его патриотические чувства. В момент особенно бурного взрыва чувств капля вздрогнула в последний раз и при слове «источников» упала на куски рыбы в тарелке мистера Ситы Рама.

– Бёрк и Бэкон, – звучно возглашал мистер Сита Рам. – Мильтон и Маколей...

– Ах, смотрите! – Голос Элинора Куорлз был пронзительным от испуга. Она вскочила так порывисто, что опрокинула стул. Мистер Сита Рам повернулся к ней.

– В чем дело? – спросил он недовольным тоном: досадно, когда вас прерывают в середине периода.

Элинора показала пальцем. Огромная серая жаба прыгала по веранде. В наступившем молчании был слышен каждый ее прыжок; словно мокрая губка шлепалась об пол.

– Жаба – животное безвредное, – сказал мистер Сита Рам, привыкший к тропической фауне.

Элинора умоляюще посмотрела на мужа. Он ответил ей неодобрительным взглядом.

– Ну что ты, в самом деле? – сказал он. Сам он испытывал глубокое отвращение к подобным животным. Но он умел стойчески подавлять свое отвращение. То же самое было и с пищей. В рыбе было – только теперь он нашел подходящее сравнение – что-то жабье. И все-таки он ел ее. Элинора после первого глотка больше к ней не притронулась.

– Прогони ее, ради Бога, – прошептала она. Ее лицо выражало страдание. – Ты знаешь, как я их ненавижу.

Филип рассмеялся; извинившись перед мистером Ситой Рамом, он встал с места, очень высокий и тонкий, и заковылял по веранде. Носком своего неуклюжего ортопедического башмака он передвинул жабу к краю веранды. Она тяжело шлепнулась в сад. Посмотрев через перила, он увидел море, сияющее вдали среди пальмовых стволов. Луна тоже взошла, и пучки листьев четко вырисовывались на фоне неба. Ни один лист не шевелился. Было невероятно жарко, и казалось, что жара с наступлением ночи все усиливается. При солнце жара была не так ужасна: она была естественной. Но эта удушливая тьма... Филип отер лицо и вернулся к столу.

– Итак, вы говорили, мистер Сита Рам...

Но вдохновение оставило мистера Ситу Рама.

– Я сегодня перечитывал произведения Морли, – объявил он.

– Ух ты! – сказал Филип Куорлз, любивший при случае выразиться по-школьнически среди серьезного разговора. Это обычно производило большое впечатление. Но мистер Сита Рам вряд ли мог оценить это «ух ты!» по достоинству.

– Какой мыслитель! – продолжал он. – Какой великий мыслитель! И какая чистота стиля!

– Да, пожалуй.

– У него попадаются замечательные выражения, – не унимался мистер Сита Рам. – Я выписал некоторые из них. – Он порылся в карманах, но не нашел своей записной книжки. – Не важно, – сказал он. – Но некоторые выражения замечательны. Иногда прочтешь целую книгу и не найдешь в ней ни одного выражения, которое стоило бы запомнить или процитировать. Какой смысл в такой книге, спрашиваю я вас?

– В самом деле, какой?

Четверо или пятеро неопрятных слуг вышли из дому и переменили тарелки. Появилась груда мясных пирожков подозрительного вида. Элино́р в отчаянии посмотрела на мужа, а потом стала уверять мистера Ситу Рама, что она никогда не ест мяса. Стоически поедая пирожки, Филип одобрил ее благоразумие. Они пили сладкое шампанское, теплое, как чай; за пирожками последовало сладкое – большие шары бледного цвета (чувствовалось, что их долго и любовно мяли в ладонях) из какого-то загадочного вещества, одновременно вязкого и хрустящего, сладкого и в то же время отдававшего бараньим салом.

Под влиянием шампанского вдохновение вернулось к мистеру Сите Раму. Теперь его последняя парламентская речь полилась сама собой.

– У вас один закон для англичан, – говорил он, – и другой – для индусов: один – для угнетателей и другой – для угнетаемых. Слово «справедливость» либо исчезло из вашего словаря, либо изменило свое значение.

– Я склонен думать, что изменилось его значение, – вставил Филип.

Мистер Сита Рам не обратил внимания на замечание Филипа. Он преисполнился священного негодования, тем более страстного, что оно было столь очевидно бессильным.

– Возьмите, например, случай, – продолжал он (и его голос дрожал помимо воли), – с несчастным начальником станции из Бхованипора.

Но Филип вовсе не собирался рассматривать этот случай. Он думал о том, как меняется значение слова «справедливость». До того как он побывал в этой стране, справедливостью для Индии казалось одно. Теперь, когда он собирался уехать отсюда, справедливостью казалось совсем другое.

У начальника станции из Бхованипора, как выяснилось, был незапятнанный послужной список и девять человек детей.

– Но почему вы не научите их предохранительным мерам, мистер Сита Рам? – спросила Элино́р. Она всегда содрогалась, слыша об этих огромных семействах. Она вспоминала, как она мучилась, когда рожала маленького Фила. А ведь к ее услугам были хлороформ и две сиделки и сэр Клод Эглет. Тогда как у жены начальника станции из Бхованипора... ей приходилось слышать об индусских повитухах. – Разве это не единственный выход для Индии?

Мистер Сита Рам считал, однако, что единственным выходом является всеобщее избирательное право и самоуправление. Он вернулся к истории начальника станции. Он с честью сдал все испытания и получил самую блестящую оценку. И все-таки его по крайней мере четыре раза обходили повышением – четыре раза! – и каждый раз выдвигали вместо него какого-нибудь европейца или евразийца. Кровь мистера Ситы Рама кипела при мысли о пяти тысячелетиях индийской цивилизации, индийской духовной жизни, индийского морального превосходства, цинически попираемых в лице начальника станции из Бхованипора ногами англичан.

– И это справедливость, я спрашиваю? – Он стукнул кулаком по столу.

«Кто знает, – размышлял Филип. – Может быть, это и есть справедливость».

Элино́р все еще думала о девяти детях. Ей рассказывали, как повитухи, чтобы ускорить роды, становятся своим пациенткам на живот. А вместо спорыньи они пичкают их смесью коровьего навоза и толченого стекла.

– И это вы называете справедливостью? – повторил мистер Сита Рам.

Поняв, что от него ожидают ответа, Филип покачал головой и сказал «нет».

– Вы должны написать об этом, – сказал мистер Сита Рам. – Вы должны вскрыть эти безобразия.

Филип выразил сожаление, что он всего только романист, а не публицист и не журналист.

– Вы знаете старого Даулата Синга, – добавил он с видимой непоследовательностью, – того, который живет в Аджмире?

– Я встречался с ним, – сказал мистер Сита Рам тоном, из которого явствовало, что он не любит Даулата Синга или, может быть (что казалось Филипу более вероятным), что тот не любит или за что-то не одобряет мистера Ситу Рама.

– Мне он показался очень интересным человеком, – сказал Филип. Для людей, подобных Даулату Сингу, слово «справедливость» означало совсем не то, что для мистера Ситы Рама или для начальника станции из Бхованипора. Он вспомнил благородное лицо старика, блестящие глаза, сдержанную страстность его слов. Если бы только он не жевал бетель...

Наступило время уходить. Наконец-то! Они попрощались с преувеличенной сердечностью, сели в ожидавший их автомобиль и уехали. Земля между пальмами была будто усыпана серебряными монетами, забрызгана кляксами ртути. Машина катилась сквозь непрерывное мерцание света и тьмы – как в кинематографе двадцать лет тому назад; а когда машина вырвалась из-под пальм, их облило ярким светом огромной луны.

«Трехликая Геката, – думал Филип, шурясь на блестящий шар. – Ну а как же Сита Рам и Даулат Синг и начальник станции? А древняя, внушающая благоговейный ужас Индия? А справедливость и свобода? А прогресс и будущее? Вся беда в том, что мне до всего этого нет никакого дела. Ровно никакого. Это позор. Но мне нет дела. И ликов у Гекаты вовсе не три. Их тысячи, их миллионы. Приливы. Богиня озера Немо. Прямо пропорционально произведению масс и обратно пропорционально квадрату расстояний. Серебряная монета – рукой подать, а на самом деле величиной как вся Российская империя. Больше, чем Индия. Как хорошо будет вернуться в Европу! И подумать только, что было время, когда я читал книги о йогах и делал дыхательные упражнения и пытался убедить себя, что я не существую! Вот тоже дурак! А все от разговоров с этим идиотом Барлепом. К счастью, люди не оставляют на мне глубокого следа. Они скользят по мне, как пароход по морю. Но поверхность снова становится гладкой. Интересно, каков будет завтрашний пароход? Пароходы Ллойда Триестино считаются хорошими. Я сказал – к счастью, а может быть, на самом деле нужно стыдиться своего безразличия? Вспомни притчу о сеятеле. Зерно, упавшее на каменистую почву. Но когда делаешь вид, что ты не то, что есть на самом деле, все равно никакого толку не получается. Взять, например, Барлепа. Вот тоже комедиант! А ведь многие ему верят. Включая его самого, вероятно. Очень возможно, что никто не лицемерит сознательно, кроме особых случаев. Невозможно все время носить маску. А все-таки хотелось бы узнать, как это можно так сильно верить во что-нибудь, чтобы ради этого убивать людей или самому пойти на смерть. Стоило бы испытать...»

Элинор тоже смотрела на яркий диск. Луна, полная луна... И вдруг Элинор переместилась в пространстве и времени. Она опустила глаза и повернулась к мужу; она взяла его за руку и нежно прильнула к нему.

– Помнишь те вечера? – спросила она. – В саду в Гаттендене. Помнишь, Фил?

Слова Элинор донеслись к нему издалека, из мира, который сейчас несколько не интересовал его. Он неохотно отозвался.

– Какие вечера? – спросил он голосом из другого мира, сухим и бесцветным голосом человека, отвечающего на назойливый телефонный звонок.

При звуке этого телефонного голоса Элинор быстро отодвинулась от Филипа. Прижаться к человеку, который, как выясняется, на самом деле отсутствует, это не только досадно, это, кроме того, унижительно. А он еще спрашивает, какие вечера! Действительно!

– Почему ты меня больше не любишь? – с отчаянием в голосе спросила она. О каких же других вечерах она могла говорить, как не о вечерах в то чудесное лето после их свадьбы, которое они провели в доме ее матери. – Ты совершенно не обращаешь на меня внимания – меньше внимания, чем на мебель, гораздо меньше, чем на книгу.

– Но, Элинор, о чем ты? – Филип выразил своим голосом больше удивления, чем он на самом деле испытывал. После первого мгновения, когда он выбрался на поверхность из глубин своей задумчивости, он понял, что она хотела сказать, он связал сегодняшнюю индийскую луну

с той луной, которая восемь лет назад сияла над Харфордширским садом. Ему следовало бы сказать об этом. Все стало бы сразу проще. Но он сердился, когда его прерывали, он не любил выслушивать упреки, и к тому же искушение доказать в споре свою правоту было слишком сильным. – Я задаю простой вопрос, – продолжал он, – просто хочу знать, о чем ты говоришь. А ты начинаешь жаловаться на то, что я больше не люблю тебя. Не вижу никакой логической связи.

– Но ты отлично знаешь, о чем я говорила, – сказала Элинора, – и потом это правда: ты больше не любишь меня.

– Любить-то я тебя люблю, – сказал Филип и, все еще пытаясь оставаться на почве диалектики (хотя он знал, что это все равно бесполезно), продолжал подвергать Элинора сократическому допросу, – но вот что мне действительно хотелось бы уразуметь: каким образом возник этот разговор. Мы начали с вечеров, и вот...

Но логика интересовала его жену гораздо меньше, чем любовь.

– Ах, я отлично знаю, что ты никогда не скажешь, что не любишь меня! – прервала она. – Словами ты не скажешь. Ты не захочешь причинить мне боль. Но мне гораздо больней, когда ты не говоришь об этом прямо, когда ты обходишь это молчанием. Ведь своим молчанием ты тоже признаешь, что не любишь меня. Но от этого гораздо больней, потому что боль длится дольше, потому что нет уверенности, потому что страдания все повторяются. Пока слово не сказано, всегда остается надежда: а может, оно и не подразумевалось. Даже если знаешь, что на самом деле оно наверняка подразумевалось. Всегда остается надежда. А где надежда, там и разочарование. То, что ты уклоняешься от ответа, Фил, – это не доброта, это жестокость.

– Я не уклоняюсь от ответа, – возразил он. – Но зачем мне говорить, что я тебя не люблю, если я тебя люблю?

– Да, но как? Как ты любишь? Не так, как ты любил раньше. Или, может быть, ты забыл? Ты даже не помнишь о том времени, когда мы только что поженились.

– Но, дорогое дитя, – возражал Филип, – будь точней. Ты сказала просто «эти вечера», а я должен был догадываться какие.

– Конечно, – сказала Элинора. – Ты бы догадался, если бы обращал на меня сколько-нибудь внимания. Об этом-то я и говорю. Ты так мало любишь меня теперь, что даже не помнишь о том времени, когда ты любил. Неужели, по-твоему, я могу забыть эти вечера?

Она вспомнила сад, невидимые в темноте душистые цветы, огромную черную веллингтонскую лужайку, восходящую луну и двух каменных грифонов по обеим сторонам низкой террасы, где они сидели вдвоем. Она вспомнила его слова и его поцелуи, прикосновения его рук. Она вспомнила все, вспомнила с мелочной точностью тех, кто любит погружаться в прошлое и восстанавливать его, кто неустанно перебирает каждую драгоценную подробность прежнего счастья, возрожденного воспоминанием.

– Это просто изгладилось из твоей памяти, – добавила она с печальным укором: для нее те вечера обладали большей реальностью, чем почти вся ее жизнь теперь.

– Да нет же, я помню, – нетерпеливо сказал Филип, – только я не умею так сразу переключать свое сознание. Когда ты заговорила со мной, я думал о чем-то другом – только и всего.

– Хотела бы я, чтобы у меня тоже было о чем думать кроме этого, – вздохнула Элинора. – Вся беда в том, что мне не о чем больше думать. Зачем я так люблю тебя? Зачем? Это несправедливо. Ты защищен своим интеллектом и талантом. Ты можешь уйти в работу, в мир идей. Но у меня нет ничего; мне нечем защититься от моих переживаний; у меня нет ничего, кроме тебя. А ведь защита нужна именно мне. Потому что я люблю тебя. Тебе не от чего защищаться. Тебе все равно. Нет, это несправедливо, это несправедливо.

В конце концов, размышляла она, это и всегда было так. Он никогда не любил ее по-настоящему, даже в самом начале. Он никогда не любил ее глубоко, всем своим существом, до самозабвения. Потому что даже в самом начале их любви он уклонялся от слишком близкого

соприкосновения, он не хотел отдать ей всего себя. А она отдавала ему все, решительно все. И он брал, ничего не давая взамен. Он никогда не отдавал ей свою душу, самую интимную часть своего «я». Всегда, даже в самом начале, даже когда он очень любил ее. Она была счастлива тогда, но только потому, что она еще не знала, что такое счастье, она еще не понимала, что любовь может быть иной, более глубокой. Сейчас она испытывала извращенное наслаждение, унижая свое прежнее счастье, обесценивая свои воспоминания. Луна, темный душистый сад, огромное черное дерево, бархатная тень на лужайке... Она отрицала их, она отрекалась от счастья, символами которого они сохранились в ее памяти.

Филип Куорлз молчал. Ему нечего было сказать. Он обнял ее и привлек к себе; он целовал ее лоб, ее дрожащие ресницы – они были влажными от слез.

Грязные предместья Бомбея проносились мимо. Фабрики и лачуги и огромные жилые дома, в лунном свете призрачные и белые, как скелеты. Коричневые тонконогие пешеходы возникали на мгновение в свете фар, точно истины, постигнутые интуитивно, мгновенно и с безусловной очевидностью, и сейчас же скрывались снова в пустоте крошечной тьмы. Здесь и там придорожные огни выхватывали из мрака темные тела и лица. Обитатели мира, внутренне такого же далекого от них, как самая далекая из звезд, смотрели на них, когда автомобиль проносился мимо скрипучих телег, запряженных буйволами.

– Дорогая, – повторял он. – Дорогая...

Элинор позволила себя утешить.

– Ты любишь меня хоть немножко?

– Больше всех на свете.

Она даже засмеялась. Правда, в ее смехе слышалось рыдание, но все-таки это был смех.

– Как ты стараешься быть нежным со мной! – А все-таки, думала она, те дни в Гаттендене были действительно блаженными. Они принадлежали ей, она пережила их; от них нельзя отречься. – Ты так стараешься. Это так мило с твоей стороны.

– Перестань говорить глупости, – сказал он. – Ты отлично знаешь, что я люблю тебя.

– Любишь? – Она улыбнулась и погладила его по щеке. – Да, когда у тебя есть время, да и то по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

– Нет, это неправда. – Но в глубине души он знал, что это правда. Всю жизнь он шел один, в пустоте своего собственного мира, куда он не допускал никого: ни свою мать, ни друзей, ни своих возлюбленных. Даже когда он держал ее в объятиях, он сообщался с ней по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

– Это неправда, – с нежной насмешкой повторила она. – Бедненький Фил! Но ведь ты и ребенка не сумеешь обмануть. Ты не умеешь лгать убедительно. Ты слишком честен. За это-то я и люблю тебя. Если бы ты знал, до чего ты прозрачен.

Филип молчал. От разговоров о личных отношениях ему всегда становилось неловко. Они угрожали нарушить его одиночество – то одиночество, которое одна часть его сознания осуждала (потому что он чувствовал себя отрезанным от многого, что он хотел бы испытать); и все-таки только в этом одиночестве мог жить его дух, только там он чувствовал себя свободно... Обычно он воспринимал это внутреннее одиночество как нечто само собой разумеющееся, такое же естественное, как воздух, которым мы дышим. Но когда оно было под угрозой, он болезненно ощущал, как оно ему необходимо; он боролся за него, как задыхающийся борется за глоток воздуха. Но это была пассивная борьба, сводившаяся к отступлению и обороне. Теперь он окопался в молчании, в том спокойном, уединенном, холодном молчании, которое Элинор, он был уверен, не станет нарушать, зная всю безнадежность подобных попыток. Он оказался прав: Элинор взглянула на него и, отвернувшись, принялась созерцать озаренный луной пейзаж. Их параллельные молчания текли во времени, не встречаясь.

Они мчались сквозь индийскую тьму. В воздухе, казавшемся прохладным от быстрого движения, запах тропических цветов сменялся запахом сточных вод, пищи и горящего коровьего навоза.

– И все-таки, – вдруг сказала Элинора, не в силах больше сдерживать своей обиды, – ты не можешь обойтись без меня. Что станет с тобой, если я уйду от тебя к человеку, который сумеет дать что-нибудь взамен того, что даю я? Что станет с тобой?

Вопрос канул в молчание. Филипп не ответил. Но *что* действительно станет с ним? Он и сам не знал. В повседневной жизни он был чужеземцем, испытывающим неловкость от общения с подобными себе, не умеющим или неспособным общаться с теми, кто не говорит на родном ему интеллектуальном языке идей. Эмоционально он был чужеземцем. Элинора служила ему переводчиком, драгоманом. Подобно своему отцу, Элинора Бидлэйк родилась с даром интуитивно понимать людей и чувствовать себя с ними свободно: она быстро находила общий язык с любым человеком. Не хуже, чем ее отец, она инстинктивно понимала, как нужно разговаривать с людьми всех категорий, кроме разве той, к какой принадлежал ее муж. Трудно найти нужные слова, разговаривая с человеком, который сам ничего не говорит, который отвечает на личное безличным, на слова, полные чувства и предназначенные только для него, – интеллектуальными обобщениями. И все-таки, любя его, она не оставляла попыток войти с ним в более близкое соприкосновение; и, хотя здесь было от чего прийти в отчаяние – это было все равно что петь перед глухонемым или играть при пустом зрительном зале, – она упорно старалась передать ему свои интимные мысли и переживания. Бывали минуты, когда он, делая над собой огромное усилие, пытался ввести ее в свой внутренний мир. Может быть, привычка к скрытности лишила его способности выражать свои переживания или, может быть, самая способность переживать атрофировалась от постоянного молчания и подавления; как бы то ни было, эти редкие минуты близости доставляли Элиноре только разочарование. Святая святых, куда он с таким трудом ввел ее, оказалась почти такой же голой и пустой, как та, которая представилась изумленному взору римских солдат, осквернивших Иерусалимский храм. И все-таки она была благодарна Филиппу за его добрые намерения, за то, что он по крайней мере хотел посвятить ее в свою эмоциональную жизнь, хотя эта эмоциональная жизнь сводилась к очень немногому. Своего рода пирроновское безразличие ко всему, свойственное Филиппу от природы и усугубленное привычкой, умерялось прирожденной мягкостью и добротой и сменялось изредка неистовыми вспышками физической страсти. Разум Элинора говорил ей, что это так; но на практике ее чувства восставали против того, с чем она была в теории согласна. Все, что было в ней живого, восприимчивого, иррационального, страдало от его безразличия, словно он был холоден только с ней одной. И тем не менее, вопреки всем своим чувствам, Элинора всегда знала, что его безразличие не относится лично к ней, что он таков же со всеми, что он любит ее настолько, насколько он умеет любить, что его любовь к ней не уменьшается, потому что она никогда не была более сильной; раньше она была, пожалуй, более страстной, но даже тогда она не была более эмоциональной, более самозабвенной, чем теперь. Но все-таки ее чувства не мирились с этим; он не должен быть таким! Не должен, да! Но таким он был. После взрыва возмущения Элинора смирялась и старалась любить его настолько разумно, насколько она могла, удовлетворяясь его нежностью, его страстью, существовавшей в нем как-то отдельно от него самого, его редкими попытками эмоционально сблизиться с ней и, наконец, его умом, умом, способным быстро и глубоко охватить все, даже те эмоции, которых он не мог испытывать, и те инстинкты, которым не хотел поддаваться.

Однажды, когда он рассказывал ей о книге Келлера про обезьян, она сказала:

– Знаешь, Фил, ты вроде обезьяны, только навыворот. Почти человек, как бедняжки шимпанзе. Вся разница в том, что они пытаются мыслить при помощи своих чувств и инстинктов, а ты пытаешься чувствовать при помощи своего интеллекта. Почти человек. На самой грани, бедный мой Фил!

Он так изумительно понимал все; поэтому было очень весело служить для него переводчиком и объяснять ему других людей. (Гораздо менее весело было объяснять себя.) Он схватывал все, что мог уловить разумом.

Она осведомляла его о своем общении с туземцами мира эмоций, и он сразу понимал все, он обобщал ее опыт, он связывал его с опытом других людей, классифицировал, находил аналогии и параллели. Единичное и неповторимое становилось в его руках частью системы. Она с удивлением обнаруживала, что она сама и ее друзья, помимо своей воли, подтверждали какую-нибудь теорию или служили примером при каком-нибудь интересном обобщении. Ее функции драгомана не ограничивались разведкой и осведомлением. Зачастую ей приходилось служить посредником между Филипом и каким-нибудь третьим лицом, с которым он хотел войти в соприкосновение: она создавала атмосферу, без которой невозможно личное общение, не давала разговорам стать чрезмерно интеллектуальными и сухими. Предоставленный самому себе, Филип не был бы в состоянии установить или поддерживать личное общение. Но когда рядом с ним была Элинор, которая создавала и поддерживала это общение, он способен был понимать и сочувствовать разумом; Элинор уверяла его, что в этом понимании и сочувствии нет ничего человеческого. Переходя к абстракциям, он снова становился сверхчеловеком.

Да, служить драгоманом при таком исключительно сообразительном путешественнике по стране чувств было истинным развлечением. Но это было больше чем развлечение: в глазах Элинор это было, кроме того, долгом. Нужно было думать о его работе.

– Ах, если б ты был немножко меньше сверхчеловеком, Фил, – говаривала она ему, – какие прекрасные романы ты писал бы!

И он соглашался с ней, немного огорченный. Он был достаточно умен, чтобы понимать, чего ему недостает. Элинор старалась насколько могла возместить это; осведомляла его о нравах туземцев, служила посредником, когда он хотел войти с кем-нибудь из них в личное соприкосновение. Не только ради себя, но и ради него самого как писателя она хотела, чтобы он перестал быть таким безличным, чтобы он научился жить не только своим интеллектом, но и чувствами, инстинктами и интуицией. Она героически поощряла даже его пассивное влечение к другим женщинам: две-три любовные связи принесли бы ему пользу. Она так заботилась о том, чтобы принести ему пользу как писателю, что не раз, видя, как он восхищенно смотрит на какую-нибудь молодую женщину, она принималась устанавливать для него личное общение с ней, установить которое он сам не умел. Это было, конечно, рискованно: он мог полюбить по-настоящему; он мог забыть о своем интеллекте и стать другим человеком, и все это досталось бы какой-нибудь другой женщине. Элинор шла на риск отчасти потому, что она считала, что его творчество важнее, чем все остальное, важнее, чем даже ее собственное счастье, отчасти же потому, что она втайне была уверена, что на самом деле никакого риска нет и что он никогда не потеряет голову и не уйдет к другой женщине. Метод лечения при помощи любовных связей действовал бы медленно, если он вообще оказался бы действенным, и она верила, что, если он окажет действие, она сумеет использовать его в своих интересах. Однако пока что он не действовал. Филип изменял ей очень редко, и его измены не оказывали на него сколько-нибудь заметного влияния. Он оставался до ужаса, до безумия все тем же – сообразительным настолько, что казался почти человеком, холодно-добрым, разъединенно страстным и чувственным, безлично-нежным. Почему она до сих пор любит его? – спрашивала она себя. С таким же успехом можно любить книжный шкаф. Когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нельзя быть такой альтруистичной и преданной. Надо подумать и о собственном счастье. Быть любимой, а не только любить; получать, а не только отдавать... Да, когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нужно подумать и о самой себе. Кроме того, ему это послужит наказанием. Да, наказанием, потому что она была убеждена, что, если она уйдет от него, он будет искренне несчастен, по-своему – насколько он вообще может быть несчастен. И может быть, это страдание совершит то чудо, к которому она стремилась все эти годы; может быть, оно сделает его

более восприимчивым, более человечным. Может быть, оно сделает его настоящим писателем, может быть, это даже ее долг – сделать его несчастным, самый священный ее долг...

Собака, перебежавшая через дорогу впереди машины, вывела ее из задумчивости. Как неожиданно ворвалась она в узкую вселенную автомобильных фар! Бегущая во весь опор, она существовала какую-то долю секунды и снова скрылась во тьме по другую сторону освещенного мира. Другая собака внезапно появилась на ее месте, преследуя первую.

– О! – воскликнула Элинон. – Ее... – Огни автомобиля метнулись в сторону и снова вперед; машину мягко встряхнуло, словно одно из ее колес переехало камень, но камень взвизгнуло. – ...задавит, – закончила она.

– Ее уже задавило.

Шофер-индус обернулся, улыбаясь во весь рот. Видно было, как сверкнули его зубы.

– Собака! – сказал он. Он гордился своим умением говорить по-английски.

– Бедный пес! – Элинон передернуло.

– Сам виноват, – сказал Филип, – зачем не смотрел. Вот чем кончается погоня за самкой!

Наступило молчание. Его прервал Филип.

– Нравственность приняла бы очень странные формы, – вслух размышлял он, – если бы мы любили в определенный сезон, а не круглый год. Понятие о нравственном и безнравственном менялось бы по месяцам. Первобытное общество гораздо более склонно к сезонной любви, чем цивилизованное. Даже в Сицилии в январе рождается вдвое больше детей, чем в августе. Это лишний раз доказывает, что весной юноша... Но нигде это не бывает *только* весной. У людей не бывает ничего похожего на течку у сук или кобыл. Если не считать некоторых явлений в моральной сфере. Дурная репутация женщины привлекает мужчин. Дурная слава свидетельствует о доступности. В животном мире отсутствие течки соответствует тому, что в женщине мы называем целомудрием...

Элинон слушала с интересом и в то же время с некоторым ужасом. Достаточно было несчастному животному попасть под автомобиль, и вот уже заработал этот гибкий, неутомимый интеллект. Несчастный, изголодавшийся пес-пария был раздавлен колесами автомобиля. Это происшествие заставило Филипа привести статистические данные о рождаемости в Сицилии, высказать ряд мыслей об относительности морали, дать блестящее психологическое обобщение. Это было удивительно, это было неожиданно, это было увлекательно; но, Боже: она готова была разрыдаться.

VII

Отделавшись от миссис Беттертон и раскланявшись издали с отцом и леди Эдвард, Уолтер снова отправился на поиски. Наконец он нашел то, что искал. Люси Тэнтемаунт только что вышла из столовой и стояла под аркой, нерешительно смотря по сторонам. Кожа ее казалась особенно белой в траурном платье. Букетик гардений был приколот к корсажу. Она подняла руку и прикоснулась к гладким черным волосам; изумруд в ее кольце подал Уолтеру зеленый сигнал с другого конца зала. Критически, с какой-то холодной интеллектуальной ненавистью Уолтер осмотрел ее и спросил себя, за что, собственно, он ее любит? За что? Не было ни объяснений, ни оправдания. Все говорило за то, что он не должен ее любить.

Вдруг она двинулась, она вышла из поля его зрения. Уолтер пошел вслед за ней. Проходя мимо двери в столовую, он заметил Барлепа, который оставил свою роль отшельника и пил шампанское, слушая графиню д'Экзержилло. «Ого-го! – подумал Уолтер, вспоминая свой собственный опыт с Молли д'Экзержилло. – Но Барлеп, вероятно, обожает ее. Ему это как раз подходит... Он... Но вот и Люси; разговаривает – проклятие! – с генералом Нойлем». Уолтер остановился неподалеку, нетерпеливо дожидаясь возможности заговорить с ней.

– Наконец-то я вас поймал, – говорил генерал, поглаживая ее руку. – Искал вас весь вечер.

Наполовину – сатир, наполовину – добрый дядюшка, он питал к Люси стариковскую слабость.

«Очаровательная малютка! – уверял он всех, кто соглашался его выслушивать. – Очаровательная фигурка! А какие глаза!» Он предпочитал молоденьких. «Что может быть лучше молодости!» – любил он говорить. Его долголетняя неприязнь к Америке и американцам превратилась в восторженное преклонение после того, как он в возрасте шестидесяти пяти лет посетил Калифорнию и насмотрелся на голливудских звездочек и прекрасных купальщиц с берегов Тихого океана. Люси было почти тридцать, но генерал знал ее давно; он продолжал относиться к ней, как к юной девушке своих первых воспоминаний. Ему она все еще казалась семнадцатилетней. Он снова погладил ее руку.

– Ну, теперь мы с вами поболтаем, – сказал он.

– Это будет очень весело, – сказала Люси с саркастической любезностью.

Уолтер смотрел на них со своего наблюдательного пункта. Генерал когда-то был красив. Его высокая фигура, затянутая в корсет, все еще сохраняла военную выправку. Как истый гвардеец, он, улыбаясь, покручивал седой ус. Через минуту он опять был старым дядюшкой, настроенным игриво, покровительственно и доверчиво. Слегка улыбаясь, Люси с безжалостным и насмешливым любопытством рассматривала его своими светло-серыми глазами. Уолтер вглядывался в ее лицо. Она даже не особенно красива. Так за что же? Он искал причин, искал оправданий. За что? Он упорно задавал себе этот вопрос. Ответа не было. Просто он влюбился в нее – вот и все; как сумасшедший, с первого же взгляда.

Повернув голову, Люси заметила его. Она кивнула ему и подозвала к себе. Он сделал вид, что приятно удивлен.

– Надеюсь, вы не забыли нашего уговора, – сказал он.

– Разве я когда-нибудь забываю? Кроме тех случаев, когда я делаю это нарочно, – добавила она со смехом. Затем, обращаясь к генералу: – Мы с Уолтером увидим сегодня вашего пасынка, – объявила она таким тоном и с такой улыбкой, словно говорила о ком-то, кто был особенно дорог ее собеседнику. Но она прекрасно знала, что между Спэндреллом и его отчимом смертельная вражда. Люси унаследовала от матери страсть к сознательным «промахам», которая у нее принимала оттенок научной любознательности, унаследованной от отца. Ей нравилось экспериментировать, но не на лягушках и морских свинках, а на человеческих суще-

ствах. Сказать человеку что-нибудь неожиданное, поставить его в дурацкое положение и смотреть, что из этого получится. Это был метод Дарвина и Пастера.

В данном случае получилось то, что лицо генерала Нойля побагровело.

– Я давно не виделся с ним, – холодно сказал он.

«Прекрасно, – сказала она себе, – он реагирует».

– Но он такой милый, – сказала она вслух.

Генерал покраснел еще больше и нахмурился. Чего он только не делал для этого мальчишки! И какой неблагодарностью платил ему мальчишка, как безобразно он себя вел! Его выгоняли со всех мест, на которые его устраивал генерал. Лодырь, шалопай, пьяница и развратник; причиняет своей матери страдания, сидит у нее на шее, позорит свое имя. А его наглость! Какие слова он посмел ему сказать, когда они виделись в последний раз и когда между ними, по обыкновению, произошла сцена! Генерал никогда не забудет, что его называли «старым слюнявым импотентом».

– И он такой способный, – говорила Люси. С внутренней улыбкой она вспомнила резюме карьеры его отчима, составленное Спэндреллом. «Исключенный за неуспеваемость из Харроу, – гласило оно, – окончивший Сандхерст последним по списку, он сделал блестящую карьеру в армии, достигнув во время войны высокого поста в контрразведке». Он изумительно читал некролог генерала. Прямо-таки слышались неподражаемые интонации «Таймс».

– Такой способный, – повторила Люси.

– Да, некоторые считают его способным, – очень холодно сказал генерал Нойль, – но лично я... – Он с силой прочистил горло. Это было *его* личное мнение.

Через минуту он откланялся, все так же сурово, все с тем же сердитым достоинством. Он чувствовал себя оскорбленным. Даже молодость Люси и ее обнаженные плечи были недостаточной компенсацией за эти похвальные отзывы о Морисе Спэндрелле. Нахальный выродок! Его существование было для генерала бельмом в глазу; и он вымещал обиду на своей жене. Женщина не имеет права иметь подобного сына, никакого права! Бедной миссис Нойль нередко приходилось искупать перед вторым мужем оскорбления, нанесенные ему ее сыном. Она была всегда под рукой, ее можно было помучить, она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Выведенный из терпения генерал считал, что грехи сына должны пасть на голову его родительницы.

Люси посмотрела вслед его удаляющейся фигуре и, обращаясь к Уолтеру, сказала:

– Что делать, чтобы не попадаться генералу? Такие разговоры и сами по себе достаточно ужасны, а от него еще такой запах! Ну как, едем?

Уолтер только этого и дожидался.

– А как же ваша мать и гости? – спросил он.

Она пожала плечами.

– Пускай мама сама возится со своим зверинцем.

– Да, это действительно зверинец, – сказал Уолтер, неожиданно преисполняясь надеждами. – Давайте ускользнем куда-нибудь в тихое местечко.

– Бедный Уолтер! – В ее глазах была насмешка. – Никогда не встречала людей с такой страстью к тишине. Но я не хочу никаких тихих местечек.

Его надежды испарились, оставив легкую горечь и бессильное раздражение.

– Тогда почему бы нам не остаться здесь? – спросил он, пытаясь быть саркастическим. – Разве здесь недостаточно шумно?

– Да, но здесь не тот шум, который я люблю, – объяснила она. – Ненавижу шум, производимый культурными, почтенными, уважаемыми людьми, вот как вся эта публика. – Она жестом указала на гостей. Ее слова заставили Уолтера вспомнить отвратительные вечера, которые он проводил с Люси в компании людей некультурных и не заслуживающих уважения, да к

тому же пьяных. Гости леди Эдвард были достаточно неприятны. Но те были, безусловно, еще неприятней. Как она может их выносить?

Люси, казалось, угадала его мысли. Она с улыбкой положила ему руку на плечо.

– Не страдайте! – сказала она. – На этот раз я не поведу вас в дурную компанию. Будет Спэндрелл...

– Спэндрелл, – повторил он с гримасой.

– А если Спэндрелл для вас недостаточно шикарен, там, наверно, будет еще Марк Рэмпион с женой, если только мы приедем не слишком поздно.

При имени художника и писателя Уолтер одобритительно кивнул.

– Да, я охотно послушаю шум, который производит Рэмпион. – Затем, делая усилие, чтобы преодолеть робость, которая всегда заставляла его молчать, когда наступал момент выразить свои чувства словами: – Но я предпочел бы, – добавил он шутливым тоном, чтобы его слова звучали не так смело, – я предпочел бы где-нибудь наедине послушать шум, который производите *вы*.

Люси улыбнулась, но ничего не ответила. Он с каким-то ужасом уклонился от ее взгляда. Ее глаза смотрели на него бесстрастно и холодно, точно они знали все заранее и не интересовались больше ничем, а только слегка забавлялись, очень слегка, очень равнодушно забавлялись.

– Ну что ж, – сказал он, – идемте. – Тон у него был покорный и несчастный.

– Нам придется улизнуть, – сказала она, – сбежать украдкой. А то нас поймают и заставят вернуться.

Но им не удалось скрыться незамеченными. Подходя к двери, они услышали позади себя шелест платья и звук поспешных шагов. Голос назвал Люси по имени. Они обернулись и увидели миссис Нойль, жену генерала. Она положила руку на плечо Люси.

– Мне только что сказали, что сегодня вечером вы увидите Мориса, – сказала она, не объясняя, что генерал сообщил ей об этом только для того, чтобы отвести душу и сказать что-нибудь неприятное человеку, который безропотно стерпит его грубость. – Передайте ему два слова от меня. Хорошо? – Она умоляюще наклонилась всем телом вперед. – Вы это сделаете? – Было что-то трогательно-юное и беспомощное в ее манере, что-то очень юное и нежное, несмотря на ее пожилое лицо. К Люси, которая годилась ей в дочери, она обращалась как к кому-то старшему и более сильному. – Пожалуйста!

– Ну конечно, – сказала Люси.

Миссис Нойль благодарно улыбнулась.

– Скажите ему, – сказала она, – что я приду к нему завтра в конце дня.

– Завтра в конце дня.

– Между четвертью и половиной пятого. И не говорите об этом никому больше, – добавила она после минутного колебания.

– Ну конечно, я никому не скажу.

– Я так благодарна вам, – сказала миссис Нойль и с неожиданным и робким порывом поцеловала Люси. – Спокойной ночи, дорогая. – Она скрылась в толпе.

– Можно подумать, – сказала Люси, когда они проходили по вестибюлю, – что она назначала свидание любовнику, а не сыну.

Два швейцара, два услужливых автомата, распахнули перед ними дверь. Закрывая дверь, они многозначительно перемигнулись. На мгновение машины превратились в живых людей.

Уолтер дал шоферу такси адрес ресторана Сбизы и вошел в замкнутую темноту автомобиля. Люси уже уселась в углу.

Тем временем в столовой Молли д'Экзержилло все еще разговаривала. Она гордилась своим искусством вести разговор. Эта способность была у нее наследственной. Ее мать была одной из знаменитых мисс Джоеган из Дублина. Ее отец был тот самый господин судья Бра-

бант, который славился своей застольной беседой и своими остротами в суде. Сверх того, замуж она вышла тоже за блестящего собеседника: д'Экзержилло был учеником Робера де Монте-скью, и Марсель Пруст почтил его упоминанием в «Содоме и Гоморре». Если бы Молли и не владела искусством разговора от рождения, она усвоила бы его от мужа. Природа и среда объединенными усилиями сделали из нее профессионала-атлета красноречия. Подобно всем добросовестным профессионалам, она не полагалась только на свои таланты. Она была трудолюбива, она упорно работала над развитием своих природных данных. Злоязычные друзья утверждали, что она зубрит свои парадоксы по утрам, лежа в постели. Она и сама не скрывала, что ведет дневник, в который, наряду со сложной историей своих переживаний и ощущений, она заносит каждый понравившийся ей анекдот, каламбур и образный оборот. Может быть, она освежала их в памяти, заглядывая в эту летопись каждый раз, когда одевалась, чтобы ехать в гости? Те же самые друзья, которые слышали, как она практикуется по утрам, видели ее трудолюбиво заучивающей, подобно ученику накануне экзамена, эпиграммы Жана Кокто об искусстве, послеобеденные рассказы м-ра Биррелла, анекдоты У. Б. Йейтса о Джордже Муре и слова, сказанные ей Чарли Чаплином во время ее последней поездки в Голливуд. Как все специалисты-говоруны, Молли весьма экономно расходовала свою мудрость и остроумие: количество *bon mots*¹⁴ не настолько велико, чтобы постоянно практикующий мастер разговора мог при каждом публичном выступлении пользоваться запасом свежих острот. Как у всех знаменитых говорунов, репертуар Молли при всем его разнообразии не был неограниченным. Как хорошая хозяйка, она умела состряпать из остатков вчерашнего обеда рагу для сегодняшнего завтрака. Кушанья, приготовленные для поминок, использовались на другой день для свадебного обеда.

Денису Барлепу она сервировала разговор, который пользовался огромным успехом на званом завтраке у леди Бенджер, а также среди гостей, приехавших на уик-энд к Гобли, у Томми Фиттона, одного из ее молодых людей, и у Владимира Павлова – другого молодого человека, у американского посла и у барона Бенито Когена. Разговор вращался вокруг любимой темы Молли.

– Знаете, что сказал про меня Жан? – говорила она (Жан – это был ее муж). – Знаете? – настойчиво повторяла она, по своей странной привычке требуя ответа на чисто риторический вопрос. Она нагнулась к Барлепу, демонстрируя ему темные глаза, зубы и декольте...

Барлеп покорно ответил, что он этого не знает.

– Он сказал, что я не совсем человек. Что я – стихийный дух, а не женщина. Нечто вроде эльфа. Как по-вашему, это комплимент или оскорбление?

– Как на чей вкус, – сказал Барлеп, придавая своему лицу тонкое и лукавое выражение, словно он хотел сказать что-то смелое, остроумное и в то же время глубокое.

– Но я не согласна с ним, – продолжала Молли. – Я вовсе не похожа на стихийного духа или на эльфа. По-моему, я простое, безыскусственное дитя природы. Своего рода крестьянка. – На этом месте все слушатели Молли обычно разражались смехом и протестами. Барон Бенито Коген энергично заявил, что она «одна из римских императриц природы».

Барлеп неожиданно отнесся к ее словам совершенно иначе. Он замотал головой, он улыбнулся мечтательной и странной улыбкой.

– Да, – сказал он, – по-моему, вы правы. Дитя природы *malgré tout*¹⁵. Вы носите маску, но за ней легко увидеть простое, непосредственное существо.

Молли была в восторге; она чувствовала, что со стороны Барлепа это высшая похвала. В таком же восторге она была тогда, когда другие не признавали ее крестьянкой. С их стороны высшей похвалой было именно это отрицание. Значение имела самая похвала, интерес к ее личности. Само по себе мнение ее поклонников интересовало ее очень мало.

¹⁴ острот (фр.).

¹⁵ Несмотря ни на что (фр.).

Тем временем Барлеп принялся развивать выдвинутую Руссо антитезу Человека и Гражданина. Она прервала его и вернула разговор к исходной теме.

– Человеческие существа и эльфы – прекрасная классификация, не правда ли? – Она нагнулась, приближая к нему лицо и грудь. – Не правда ли? – повторила она риторический вопрос.

– Пожалуй. – Барлеп не любил, когда его прерывали.

– Обычные люди – да; пусть будет так – все слишком человеческие существа с одной стороны. И стихийные духи – с другой. Одни – способные привязываться к людям и переживать и быть сентиментальными. Должна сказать, я ужасно сентиментальна. – («Вы почти так же сентиментальны, как сирены в “Одиссее”», – последовал заимствованный из классической древности комментарий барона Бенито.) – Другие, стихийные духи – свободные, стоящие в стороне от всего; они приходят и уходят – уходят с таким же легким сердцем, как приходят; пленительные, но никогда не пленяемые; доставляющие другим людям переживания, но сами ничего не переживающие. Как я завидую их воздушной легкости!

– С таким же успехом вы можете завидовать воздушному шару, – серьезно сказал Барлеп. Он всегда стоял за сердце.

– Но им так весело!

– Я бы сказал, что они не способны чувствовать себя весело: для этого нужно уметь чувствовать, а они не умеют.

– Они умеют чувствовать ровно настолько, чтобы им было весело, – возразила она, – но, пожалуй, не настолько, чтобы быть счастливыми. И во всяком случае, не настолько, чтобы быть несчастными. Вот в этом им можно позавидовать. Особенно если они умны. Возьмите, например, Филипа Куорлза. Вот кто действительно эльф. – Она повторила свое обычное описание Филипа. В числе его эпитетов были «зоолог-романист», «начитанный эльф», «ученый Пэк». Но самые удачные выскользнули из ее памяти. В отчаянии она пыталась их поймать, но они не давались в руки. На этот раз мир увидит ее теофрастовский портрет лишенным самой блестящей черточки и в целом немного скомканным из-за того, что Молли сознавала пробел и это мешало ей придать портрету законченность. – Тогда как его жена, – заключила она, болезненно сознавая, что Барлеп улыбается менее часто, чем следовало бы, – ничуть не похожа на эльфа. Она не эльф, она не начитанна и не особенно умна. – Молли снисходительно улыбнулась. – Такой человек, как Филип, должен понимать, что она ему, мягко выражаясь, не пара. – Улыбка не сходила с ее губ, выражая на этот раз самодовольство. Филип до сих пор питал к Молли слабость. Он писал ей такие забавные письма, почти такие же забавные, как ее собственные. (Молли любила цитировать фразу своего мужа: «Quand je veux briller dans le monde, – сказал он, – je cite des phrases de tes lettres»¹⁶.) – Бедняжка Элино! Она скучновата, – продолжала Молли, – что не мешает ей быть прелестной женщиной. Мы с ней были знакомы еще девочками. Очень мила, но далеко не Гипатия.

Элино! просто дурочка, раз она не понимает, что Филипа неизбежно должна привлекать женщина, равная ему по уму, женщина, с которой можно говорить как с равной. Просто дурочка, раз она не заметила волнения Филипа в тот вечер, когда Элино! познакомила его с Молли. Просто дурочка, раз она не ревновала. Молли воспринимала отсутствие ревности как личное оскорбление. Правда, она не давала никаких реальных поводов к ревности. Она не спала с чужими мужьями; она только разговаривала с ними. Не подлежало сомнению, однако, что она часто разговаривала с Филипом. А жены обязаны ревновать. Наивная доверчивость Элино! подзадорила Молли, заставила ее быть более благосклонной к Филипу, чем обычно. Но он отправился бродить по свету раньше, чем между ними произошло что-нибудь серьезное по части разговоров. Она предвкушала возобновление разговоров после его приезда.

¹⁶ Когда я хочу блистать в свете, я цитирую фразы из твоих писем (фр.).

«Бедняжка Элинора!» – сострадательно подумала она. Ее чувства были бы, вероятно, менее христианскими, если бы она знала, что «бедняжка» Элинора заметила восторженные взгляды Филипа раньше, чем заметила их сама Молли, и что, заметив их, она добросовестно принялась за свою роль драгомана и посредника. Правда, она не слишком надеялась и не слишком боялась, что Молли совершит чудо превращения: громкоговоритель, будь он даже очень хорошеньким, очень пухленьким (вкусы Филипа были несколько старомодны) и очень соблазнительным, не способен вызвать к себе безумную любовь. Единственной ее надеждой было, что страсть, вызванная прелестями Молли, не найдет полного удовлетворения в разговорах (а по слухам, разговоры были единственным, чем Молли дарила своих поклонников) и Филип придет в то состояние бешенства и отчаяния, которое способствует писанию хороших романов.

– ...Разумеется, – продолжала Молли, – умному мужчине не следует жениться на умной женщине. Поэтому Жан всегда грозит мне разводом. Он говорит, что я слишком возбуждаю его. «*Tu ne m'ennuies pas assez*»¹⁷, – говорит он; а ему необходима *une femme sédative*¹⁸. Пожалуй, он прав: Филип Куорлз поступил разумно. Представьте себе умного эльфа, вроде Филипа, женатого на такой же умной женщине из породы эльфов, например на Люси Тэнтемаунт. Это было бы сущее несчастье, не правда ли?

– Пожалуй, Люси была бы сущим несчастьем для всякого мужчины – эльфа, не эльфа, все едино.

– Нет, надо признаться, что Люси нравится мне. – Молли порылась в своем запасе теофрастовских эпитетов. – Мне нравится, как она скользит сквозь жизнь, вместо того чтобы тащиться по ней. Мне нравится, как она порхает с цветка на цветок, хотя, пожалуй, эта метафора слишком поэтична в приложении к Бентли, и Джиму Конклину, и бедному Рэджи Тэнтемаунту, и Морису Спэндреллу, и Тому Тривету, и Понятовскому, и тому молодому французу, который пишет пьесы, – как его фамилия? – и ко всем тем, кого мы забыли или о ком не знаем. – Барлеп улыбнулся: на этом месте все улыбались. – Как бы то ни было, она порхает. Надо сказать: нанося цветам немалый урон. – Барлеп снова улыбнулся. – Но ей от всего этого только весело. Должна признаться, что я ей завидую. Я хотела бы быть эльфом и порхать.

– У нее гораздо больше оснований завидовать вам, – сказал Барлеп, мотая головой с прежним глубокомысленным, тонким и христианским выражением лица.

– Завидовать мне в том, что я несчастна?

– Кто несчастен? – заговорила в эту минуту леди Эдвард. – Добрый вечер, мистер Барлеп, – сказала она, не дожидаясь ответа.

Барлеп принялся уверять ее, что ему очень понравилась музыка.

– А мы только что говорили о Люси, – прервала его Молли д'Экзержилло. – Мы согласились на том, что она похожа на эльфа: такая легкая и всему чуждая.

– На эльфа? – переспросила леди Эдвард. – Что вы! Она скорее домовый. Вы представить себе не можете, мистер Барлеп, как трудно воспитывать домового. – Леди Эдвард покачала головой. – Иногда она просто пугала меня.

– Неужели? – сказала Молли. – Но вы и сами, пожалуй, немножко эльф, леди Эдвард.

– Немножко, – согласилась леди Эдвард. – Но я все-таки не домовый.

– Ну? – сказала Люси, когда Уолтер уселся рядом с ней в такси. Она точно бросала ему вызов. – Ну?

Машина тронулась. Он схватил ее руку и поднес к губам. Это был ответ на ее вызов.

– Я люблю вас. Вот и все.

¹⁷ Ты недостаточно наводишь на меня скуку (*фр.*).

¹⁸ Успокаивающая жена (*фр.*).

– Любите, Уолтер? – Она повернулась к нему и, взяв его обеими руками за голову, внимательно рассматривала в полутьме его лицо. – Любите? – повторила она и с этими словами медленно покачала головой и улыбнулась. Потом, подавшись вперед, она поцеловала его в губы. Уолтер обнял ее; но она высвободилась из его объятий. – Нет, нет, – запротестовала она и отстранилась от него. – Нет.

Повинуясь ей, он отодвинулся тоже. Наступило молчание. От нее пахло гардениями. Сладкий тропический запах, душистый символ ее существа, окутал его. «Надо было быть настойчивым, – думал он, – грубым. Целовать ее. Заставить ее силой. Почему я не сделал этого? Почему?» Он не знал. А почему она поцеловала его? Просто для того, чтобы заставить его еще больше желать ее, чтобы еще больше поработить его. А почему он, зная это, все-таки любит ее? Почему, почему? – повторял он.

Словно в ответ на его мысли ее голос произнес:

– Почему вы любите меня?

Он открыл глаза. Они проезжали мимо уличного фонаря. Свет упал на ее лицо. Оно на мгновение выступило из темноты и снова стало невидимым – бледная маска, которая знает все заранее и относится ко всему с жестоким, бесстрастным, слегка утомленным любопытством.

– Я только что задавал себе этот вопрос, – ответил Уолтер. – Я хотел бы не любить вас.

– Знаете, я могла бы сказать то же самое. С вами сегодня не слишком-то весело.

«Как утомительны все те мужчины, – размышляла она, – которые воображают, будто никто никогда не любил до них!» И все-таки он ей нравился. Он очень привлекателен. Нет, «привлекателен» – не то слово. Как раз привлекательным-то он и не был. Скорее – «трогательный». Трогательный любовник? Это не в ее стиле. Но он нравился ей. В нем есть что-то милое. Кроме того, он остроумен, с ним приятно проводить время. Его безумная любовь, правда, утомительна, но зато он такой преданный. А это для Люси было очень важным: она боялась одиночества и требовала, чтобы ее поклонники находились все время при ней. Уолтер ходил за ней, как верный пес. Но почему он иногда походил на *побитого* пса? Жалкий пес! Какой дурак! Она вдруг рассердилась на него за то, что он такой жалкий.

– Что ж, Уолтер, – насмешливо сказала она, прикасаясь рукой к его руке, – почему вы не занимаете меня разговором?

Он не отвечал.

– Или вам угодно молчать? – Ее пальцы обжигаяще скользнули по его ладони и обхватили запястье. – Где у вас пульс? – спросила она. – Я не чувствую его. – Она ощупывала мягкую кожу в поисках бьющейся артерии. Он ощущал легкое, волнующее, холодноватое прикосновение кончиков ее пальцев. – Да у вас его и нет, – сказала она. – У вас застой крови. – В ее голосе звучало презрение. «Какой дурак!» – думала она. – Застой крови, – повторила она и вдруг с внезапной злобой вонзила острые, отточенные ногти в его руку. Уолтер вскрикнул от неожиданной боли. – Так вам и надо, – засмеялась она ему в лицо.

Он схватил ее за плечи и принялся яростно целовать. Гнев пробудил в нем желание; поцелуями он мстил ей. Люси закрыла глаза, безвольно и мягко покоряясь ему. Предвестники наслаждения, как трепещущие крылышки бабочек, пробежали по ее коже. И внезапно искусные пальцы провели, как по струнам скрипки, по ее нервам. Уолтер почувствовал, как все ее тело невольно вздрогнуло в его объятиях, вздрогнуло словно от внезапной боли. Целуя ее, он спрашивал себя, ожидала ли она такого ответа на свой вызов, хотела ли она именно этого? Он обеими руками схватил ее тонкую шею. Большие пальцы легли на ее гортань. Он слегка надавил.

– Когда-нибудь, – сказал он сквозь зубы, – я задушу вас.

Люси ответила смехом. Он нагнулся и поцеловал ее смеющийся рот. Когда его губы прикоснулись к ее губам, она почувствовала, как тонкая острая боль пронзила все ее тело. Она не ожидала от Уолтера такой неистовой и дикой страсти. Она была приятно поражена.

Машина свернула на Сохо-сквер, замедлила ход, остановилась. Они приехали. Уолтер выпустил ее из объятий и отодвинулся. Она открыла глаза и посмотрела на него.

– Ну? – вызывающе спросила она его во второй раз за этот вечер. Несколько мгновений оба молчали.

– Люси, – сказал он, – поедem куда-нибудь в другое место. Не сюда, не в этот притон. Куда-нибудь, где мы будем одни. – Его голос дрожал, его глаза умоляли. Весь его пыл прошел; он снова стал жалким, похожим на собаку. – Скажем шоферу ехать дальше, – просил он.

Она улыбнулась и покачала головой. Зачем он умоляет? Зачем он такой жалкий? Глупец, побитая собака!

– Прошу тебя, прошу тебя! – молил он. Но ему следовало приказать. Сказать шоферу везти их дальше, а самому снова обнять ее.

– Нельзя, – сказала Люси и вышла из автомобиля. Раз он ведет себя как побитая собака, значит, с ним так и нужно обращаться.

Уолтер последовал за ней, жалкий и несчастный.

Сам Сбиза встретил их на пороге. Он кланялся, разводя белыми жирными руками, и от его широкой улыбки кожа расходилась складками на его огромных щеках. Когда приезжала Люси, потребление шампанского возрастало. Поэтому она была почетной гостьей.

– Здесь мистер Спэндрелл? – спросила она. – И мистер и миссис Рэмпион?

– О да, о да, – повторял старик Сбиза с неаполитанским, почти восточным пафосом. Он как будто давал понять, что они не только тут, но что ради нее он готов был доставить каждого из них в двух экземплярах. – Как вы поживаете? Очень хорошо, очень хорошо? У нас сегодня такие омары, такие омары!.. – И он повел их в ресторан.

VIII

– Меня возмущает больше всего то, – сказал Марк Рэмпион, – что все мы стали ужасно, противоестественно ручными.

Мэри Рэмпион добродушно расхохоталась. Всякому, кто слышал ее смех, хотелось смеяться самому.

– Ты бы так не говорил, – сказала она, – будь ты на моем месте. Тебя-то уж никак нельзя назвать ручным!

И действительно, вид у Марка Рэмпиона был далеко не «ручной». Профиль – резкий: орлиный нос, похожий на режущий инструмент, острый подбородок. Глаза голубые и пронизательные, волосы очень тонкие, золотистые, с рыжим оттенком, и развевающиеся при каждом движении, при каждом порыве ветра, как языки пламени.

– Да и ты тоже не очень похожа на овечку, – сказал Рэмпион. – Но два человека – это еще не весь мир. Я говорил о всех вообще, а не о нас с тобой. Мир стал ручным. Вроде огромного кастрированного кота.

– А во время войны он тоже казался вам ручным? – спросил Спэндрелл. Он говорил из полутьмы, окружавшей маленький мир, освещенный лампой под розовым абажуром; центром этого мира был их столик. Спэндрелл сидел, раскачиваясь на стуле, прислонившись затылком к стене.

– Даже тогда, – сказал Рэмпион. – Война была бойней, где убивали домашних животных. Люди шли и дрались не потому, что у них кипела кровь. Они шли потому, что им приказывали идти, потому, что они были добрыми гражданами. «Человек – хищное животное», – любил говорить в своих речах ваш отчим. Но меня возмущает как раз то, что человек – домашнее животное.

– И с каждым днем становится все более домашним, – сказала Мэри Рэмпион, разделявшая взгляды своего мужа или, вернее сказать, разделявшая его чувства и сознательно или бессознательно пользовавшаяся для их выражения его словами. – В этом виноваты фабрики, христианство, наука, приличия, наше воспитание, – пояснила она, – они придавливают душу современного человека. Они выпивают из нее жизнь. Они...

– Ах, заткнись, Бога ради! – сказал Рэмпион.

– Но ведь ты сам так говорил!

– Так то я. Когда *ты* говоришь, оно звучит совсем иначе.

Лицо Мэри приняло было сердитое выражение, но сейчас же прояснилось. Она рассмеялась.

– Ну конечно, – добродушно сказала она, – я не очень сильна по части рассуждений. Но ты мог бы быть повежливей со мной на людях.

– Не выношу дураков.

– Берегись, а то тебе и не такое придется вынести, – со смехом погрозила Мэри.

– Если вам угодно швырнуть в него тарелкой, – сказал Спэндрелл, подвигая ей свою, – пусть мое присутствие вас не смущает.

Мэри поблагодарила.

– Это было бы ему полезно, – сказала она. – Он что-то очень зазнается.

– А тебе было бы не вредно, – отпаривал Рэмпион, – если бы я подставил тебе фонарь под глазом.

– Попробуй только! Я уложу тебя одной рукой, даже если другая будет привязана за спину.

Все трое разразились смехом.

– Ставлю на Мэри, – сказал Спэндрелл, раскачиваясь на стуле. Улыбаясь с непонятным для него самого чувством удовольствия, он переводил взгляд с одного из супругов на другого – с худощавого, неистового, неукротимого человечка на крупную золотоволосую женщину. Каждый из них был хорош по-своему; но вдвоем они были еще лучше. Сам не зная почему, он вдруг почувствовал себя счастливым.

– Мы еще сразимся как-нибудь на днях, – сказал Рэмпион и на мгновение положил свою руку на руку Мэри. У него была тонкая, нервная, выразительная рука. «Рука настоящего аристократа», – подумал Спэндрелл. А ее рука была короткая, крепкая, честная – рука крестьянки. А между тем по рождению как раз Рэмпион был крестьянином, а она – аристократкой. Вот и верьте после этого генеалогам! – Десять раундов, – продолжал Рэмпион. – Без перчатки. – Затем, обращаясь к Спэндреллу: – Знаете, вам следовало бы жениться, – сказал он.

Ощущение счастья мгновенно покинуло Спэндрелла. Он словно резким толчком вернулся к действительности. Он почти сердился на себя. Чего ради *он*-то расчувствовался, глядя на эту счастливую пару?

– Я не учился боксу, – пошутил он; сквозь шутливость Рэмпион почувствовал в его тоне горечь, скрытое ожесточение.

– Нет, в самом деле! – сказал он, пытаясь понять выражение лица Спэндрелла. Но голова последнего была в тени, и свет стоящей между ними лампы слепил Рэмпиона.

– Да, в самом деле, – поддержала Мэри. – Конечно, вам следует жениться: вы станете другим человеком.

Спэндрелл засмеялся коротким фыркающим смехом и, дав своему стулу опуститься на все четыре ножки, наклонился к столу. Отодвинув чашку кофе и недопитую рюмку ликера, он положил локти на стол и оперся подбородком на руки. Его лицо озарилось розовым светом лампы. «Как химера, – подумала Мэри, – химера в розовом будуаре». В точно такой же позе она видела химеру на крыше Нотр-Дам; она сидела скрючившись и положив свою демоническую голову на когтистые лапы. Только химера была комическим дьяволом, таким неправдоподобным, что его нельзя было принимать всерьез. Спэндрелл был живой человек, а не карикатура; поэтому его лицо казалось гораздо более мрачным и трагическим. У него было худое лицо. Скулы и челюсти резко выступали под натянувшейся кожей. Серые глаза были посажены глубоко. Мясистые губы резко выделялись на его похожем на череп лице – толстые губы, напоминавшие рубцы. «Когда он улыбается, – однажды сказала про него Люси Тэнтемаунт, – это похоже на разрез при операции аппендицита – разрез с иронически приподнятыми уголками». Красный шрам имел чувственное, но в то же время решительное выражение, так же как и круглый подбородок. Резкие линии окружали глаза и уголки губ. Густые темные волосы начинали редеть на висках.

«На вид ему лет пятьдесят, – размышляла Мэри Рэмпион. – А сколько ему на самом деле?» Подсчитав, она решила, что ему не больше тридцати двух или тридцати трех лет – как раз время остепениться.

– Другим человеком, – повторила она вслух.

– Но я вовсе не хочу становиться другим.

Марк Рэмпион кивнул.

– Да, и в этом вся ваша беда, Спэндрелл. Вам нравится вариться в собственном отвратительном и загнившем соку. Вы не стремитесь к оздоровлению. Вы наслаждаетесь собственной болезнью. Вы даже гордитесь ею.

– Брак излечит вас, – настаивала Мэри, ярая сторонница этого таинства, которому она обязана была счастьем всей жизни.

– Конечно, если только брак не погубит его жену, – сказал Рэмпион, – он может заразить ее своей гангреной.

Спэндрелл откинул голову и захохотал, но, как всегда, почти беззвучно; это был немой взрыв.

– Замечательно! – сказал он. – Замечательно! Это первый веский довод в пользу брака, какой мне довелось слышать. Ты почти убедил меня, Рэмпион. Я никогда не доводил этого до брака.

– Чего «этого»? – спросил Рэмпион, слегка нахмурившись. Ему не нравилась преувеличенно циническая манера Спэндрелла. Вот тоже: радуется тому, что он такой гадкий! Безмозглый мальчишка – только и всего.

– Процесса заражения. До сих пор я ни разу не переступал порога конторы по регистрации браков. Но в следующий раз я его переступлю. – Он глотнул бренди. – Я как Сократ, – продолжал он. – Мое божественное призвание – развращать молодежь, в частности, молодежь женского пола. Моя миссия – направлять их на запретные пути. – Он снова откинул голову и разразился беззвучным смехом. Рэмпион с отвращением поглядел на него. «Как он ломается! Он явно переигрывает, словно старается убедить самого себя, что он действительно существует».

– Если бы вы только знали, как много может дать брак! – серьезно вставила Мэри. – Если бы вы знали...

– Но, дорогая моя, он отлично знает, – нетерпеливо прервал Рэмпион.

– Пятнадцать лет мы женаты, – не унималась Мэри, преисполненная миссионерского рвения, – и смею вас уверить...

– На твоём месте я не стал бы попусту тратить время.

Мэри вопросительно посмотрела на мужа. Когда дело касалось отношений с людьми, она абсолютно доверяла суждению Рэмпиона. Сквозь эти лабиринты он пробирался с безошибочным чутьем; она могла только завидовать ему, но не подражать. «У него какой-то нюх на человеческие души», – говорила она о нем. Ее чутье на души было развито слабо. Поэтому она благоразумно позволяла ему руководить собой. Она взглянула на него. Рэмпион устался на чашку кофе. Его лоб покрылся морщинами; по-видимому, он говорил серьезно.

– Ну что ж! – сказала она и закурила сигарету.

Спэндрелл посмотрел на них торжествующим взглядом.

– У меня свой собственный метод обращения с юными особами, – продолжал он все тем же преувеличенно циничным тоном.

Закрыв глаза, Мэри вспоминала о том времени, когда они с Рэмпионом были юны.

IX

– Какое грязное пятно! – воскликнула юная Мэри, когда они достигли вершины холма и увидели расстилавшуюся внизу долину. Стэнтон-на-Тизе лежал у их ног – черные черепичные крыши, закопченные трубы, дым. За городом подымались холмы, голые и пустынные, тянувшиеся до самого горизонта. Солнце сияло, облака отбрасывали огромные тени. – Как они смеют так портить наш чудесный вид! Как они смеют!

– В природе все прекрасно, лишь человек дурен, – процитировал ее брат Джордж.

Другой юноша был настроен более практически.

– Если бы здесь поставить батарею, – предложил он, – и выпустить сотню-другую очередей...

– Вот это было бы дело, – с восторгом согласилась Мэри.

Ее одобрение наполнило блаженством воинственного молодого человека: он был отчаянно влюблен в нее.

– Тяжелые гаубицы... – начал было он, развивая свою мысль.

Но его прервал Джордж:

– Черт, это еще что такое?

Все посмотрели, куда он показывал. Какой-то человек подымался по склону холма, направляясь к ним.

– Понятия не имею, – сказала Мэри, глядя на него.

Человек приблизился. Это был юноша лет двадцати, с орлиным носом, голубыми глазами и светлыми шелковистыми волосами, развевавшимися по ветру: он шел с непокрытой головой. На нем была плохо сшитая куртка из дешевой ткани и серые фланелевые брюки с пузырями на коленях. Красный галстук и отсутствие тросточки довершали его туалет.

– Он, кажется, хочет заговорить с нами, – сказал Джордж.

Действительно, юноша направлялся прямо к ним. Он шел быстро и решительно, точно спешил по важному делу.

«Какое необыкновенное лицо! – подумала Мэри, когда он подошел к ним. – Но какой у него нездоровый вид! Худой, бледный!» Но глаза незнакомца запрещали ей жалеть его. В их блеске угадывалась сила.

Он подошел и остановился перед ними, выпрямившись, точно на параде. В его позе был вызов, и вызов был в выражении его лица. Он пристально смотрел на них блестящими глазами, переводя взгляд с одного на другого.

– Добрый день, – сказал он. Заговорить стоило ему огромного усилия. Но он должен был заговорить, именно потому, что пустые лица этих богачей выражали полное пренебрежение.

– Добрый день, – ответила за всех Мэри.

– Я вторгся в ваши владения, – сказал незнакомец. – Вы не возражаете? – Его тон стал еще более вызывающим. Он мрачно посмотрел на них. Юноши разглядывали его словно издали, из-за барьера, с выгодной позиции привилегированного класса. Они обратили внимание на то, как он одет. В их взгляде были презрение и враждебность. Был почему-то и страх. – Я вторгся в ваши владения, – повторил он. Его голос был резким, но музыкальным. Он говорил с местным акцентом.

«Один из местных мужланов», – подумал Джордж.

«Вторгся в чужие владения». Гораздо проще, гораздо приятнее было бы ускользнуть незамеченным. Именно поэтому он заставил себя встретиться с ними лицом к лицу.

Наступило молчание. Воинственный юноша отвернулся. Он отстранился от всей этой неприятной истории. В конце концов, ему нет никакого дела. Парк принадлежит отцу Мэри.

Сам он – всего только гость. Напевая «Мой девиз – всегда веселым быть», он смотрел на черный город в долине.

Молчание нарушил Джордж.

– Возражаем ли мы? – повторил он слова незнакомца. Его лицо побагровело.

«Какой идиотский у него вид! – подумала Мэри, взглянув на брата. – Точно телок. Покрасневший от злости телок».

– Возражаем ли мы? – Что за наглая скотина! Джордж старался взвинтить свое праведное негодование. – Да, мы возражаем. И я просил бы вас...

Мэри разразилась хохотом.

– Мы вовсе не возражаем, – сказала она. – Ни капельки.

Лицо ее брата стало еще красней.

– Что ты хочешь этим сказать, Мэри? – разъяренно спросил он. («Всегда веселым быть...» – напевал воинственный юноша, уносясь все дальше и дальше от них.) – Здесь частное владение.

– Но мы нисколько не возражаем, – повторила она, глядя не на брата, а на незнакомца. – Нисколько, когда люди говорят об этом так прямо и честно, как вы. – Она улыбнулась ему; но лицо юноши оставалось по-прежнему гордым и строгим. Посмотрев в его серьезные блестящие глаза, она тоже стала серьезной. Она сразу поняла, что дело здесь не шуточное. Оно будет иметь важные последствия, значительные последствия. Почему важные и в каком смысле значительные, она не знала. Она только смутно ощущала всем своим существом, что здесь – дело не шуточное.

– До свидания, – сказала она изменившимся голосом и протянула руку.

Незнакомец на секунду заколебался, потом взял руку.

– До свидания, – сказал он. – Я выберусь из парка как можно скорей. – И он быстро зашагал прочь.

– Что за чертовщина! – сердито набросился на сестру Джордж.

– Придержи язык! – раздраженно ответила она.

– Да еще подавать ему руку! – не успокаивался он.

– Чистокровный плебей, не правда ли? – вставил воинственный юноша.

Она молча посмотрела на одного, потом на другого и пошла вперед. Боже, до чего они неотесанные! Юноши шагали следом за ней.

– Когда же наконец Мэри научится вести себя прилично! – возмущался Джордж.

Воинственный юноша издал какое-то осуждающее мычание. Он любил Мэри; но и он должен был признать, что иногда она вела себя до крайности эксцентрично. Это был ее единственный недостаток.

– Подавать руку этому нахалу, – продолжал ворчать Джордж.

Так они встретились в первый раз. Мэри было в то время двадцать два года, Марку Рэмпиону – на год меньше. Он окончил второй курс Шеффилдского университета и приехал на летние каникулы в Стэнтон. Его мать жила в станционном поселке. Она получала небольшую пенсию – ее покойный муж был почтальоном – и подрабатывала шитьем. Марк получал стипендию. Его младшие и менее способные братья уже работали.

– Весьма замечательный молодой человек, – повторял ректор, когда он несколькими днями позже вкратце излагал биографию Марка Рэмпиона.

В доме ректора был устроен благотворительный базар и вечер. Ученики воскресной школы поставили на открытом воздухе маленькую пьесу. Автором был Марк Рэмпион.

– Он написал ее совершенно самостоятельно, – уверял ректор собравшееся общество. – И к тому же мальчик недурно рисует. Его картины, пожалуй, немного эксцентричны, немного... гм... – Он запнулся.

– Непонятны, – пришла ему на помощь дочь, с улыбкой представительницы буржуазии, гордящейся своей непонятливостью.

– ...но очень талантливый, – продолжал ректор. – Мальчик – настоящий лебеденок Тиза, – добавил он с застенчивым, слегка виноватым смешком: он питал пристрастие к литературным намекам. Собравшиеся представители высшего общества снисходительно улыбнулись.

Вундеркинд был представлен обществу. Мэри узнала незнакомца, вторгшегося в их владения.

– Мы уже встречались с вами, – сказала она.

– Когда я занимался эстетическим браконьерством в вашем имении.

– Можете это повторить, когда вам вздумается.

При этих словах он улыбнулся, немного иронически, как показалось ей. Она покраснела, испугавшись, что ее слова звучали покровительственно.

– Думаю, впрочем, что вы продолжали бы браконьерствовать и без приглашений, – добавила она с нервным смешком.

Он ничего не ответил, но кивнул головой, все еще улыбаясь.

Подошел отец Мэри. Он рассыпался в похвалах, которые, как стадо слонов, растоптали маленькую изящную пьесу Рэмпиона. Мэри стало больно. Все это не то, совершенно не то! Она это чувствовала. Но все несчастье в том, поняла она, что сама она тоже не сумела бы придумать ничего лучшего.

Ироническая улыбка не сходила с уст Рэмпиона. «Какими дураками он всех нас считает», – говорила она себе. Потом подошла ее мать. На смену «чертовски здорово!» пришло «как прелестно». Это было так же скверно, так же безнадежно некстати.

Когда миссис Фелпхэм пригласила его к чаю, Рэмпион сначала хотел отказаться, но так, чтобы его отказ не показался грубым или оскорбительным. По существу, ведь эта дама была полна добрых намерений. Только выглядело это довольно нелепо. Деревенский меценат в юбке, все меценатство которого ограничивалось двумя чашками чая и ломтиком сливового пирога. Ее роль была комическая.

Пока он колебался, к приглашению матери присоединилась Мэри.

– Приходите, – настойчиво сказала она. Выражение ее глаз и улыбка были таковы, словно она забавлялась этой идиотской ситуацией и в то же время просила у него прощения. «Но что я могу сделать? – казалось, говорила она. – Только просить прощения».

– Я с удовольствием приду, – сказал он, обращаясь к миссис Фелпхэм.

Назначенный день настал. Рэмпион явился, все в том же красном галстуке. Мужчины были на рыбной ловле; его приняли Мэри и ее мать. Миссис Фелпхэм старалась быть на высоте положения. Местный Шекспир безусловно должен интересоваться драматургией.

– Как вам нравятся пьесы Барри? – спросила она. – Я от них в восторге. – Она разговаривала; Рэмпион отмалчивался. Он открыл рот только тогда, когда миссис Фелпхэм, потеряв надежду услышать от него хоть слово, поручила Мэри показать ему сад.

– Боюсь, что ваша мать сочла меня очень нелюбезным, – сказал он, когда они шли по гладкой, вымощенной плитами дорожке среди розовых кустов.

– Ну что вы! – с чрезмерной сердечностью возразила Мэри.

Рэмпион рассмеялся.

– Благодарю вас, – сказал он. – Но все-таки она сочла меня нелюбезным. Потому что я и в самом деле *был* нелюбезен. Я был нелюбезен, чтобы не показаться еще более нелюбезным. Лучше молчать, чем высказывать вслух то, что я думаю о Барри.

– Вам не нравятся его пьесы?

– Пьесы Барри? Мне? – Он остановился и посмотрел на нее. Кровь прилила к ее щекам: что она сказала? – Такие вопросы можно задавать *здесь*. – Жестом он показал на цветы, на маленький пруд с фонтаном, на высокую террасу с пробивающимися между камней заячьей

капустой и обретениями и на серый строгий дом в георгианском стиле. – А вы попробуйте спуститься в Стэнтон и задайте этот вопрос *там*. Мы там живем в мире фактов, а не отгораживаемся от реальности каменной стеной. Барри может нравиться только тем, у кого есть по меньшей мере пять фунтов в неделю дохода. Для тех, кто живет в мире фактов, творчество Барри – оскорбление.

Наступило молчание. Они ходили взад и вперед между роз, тех роз, за которые, чувствовала Мэри, она должна просить прощения. Но этим она только оскорбила бы его. Огромный породистый щенок бежал им навстречу, неуклюже подпрыгивая от радости. Она окликнула его, встав на задние ноги, щенок облапил ее.

– Пожалуй, я люблю животных больше, чем людей, – сказала она, защищаясь от его слишком бурных ласк.

– Что ж, они по крайней мере непосредственны, они не отгораживаются от мира стеной, как люди вашего круга, – сказал Рэмпион, раскрывая скрытую связь между ее словами и предшествовавшим разговором.

Мэри была приятно поражена тем, что он так хорошо понял ее.

– Мне хотелось бы знать больше людей вашего круга, – сказала она, – настоящих людей, которые живут не за стеной.

– Не извольте воображать, что я буду служить вам гидом из агентства Кука, – иронически ответил он. – Мы, видите ли, не дикие звери и не туземцы в странных костюмах или что-нибудь еще в этом духе. Если вам угодно совершить благотворительное турне по трущобам, обращайтесь к ректору.

Она густо покраснела.

– Вы отлично знаете, что я говорю не об этом, – возразила она.

– Вы в этом уверены? – спросил он. – Когда человек богат, ему трудно рассуждать иначе. Ведь вы просто не представляете себе, что значит не быть богатым. Как рыба. Может ли рыба представить себе, какова жизнь на суше?

– Но может быть, это можно узнать, если очень постараться?

– Пропасть слишком велика, – ответил он.

– Ее можно перешагнуть.

– Да, пожалуй, ее можно перешагнуть. – В его тоне слышалось сомнение.

Еще несколько минут они разговаривали, прогуливаясь среди роз; потом Рэмпион посмотрел на часы и сказал, что ему пора уходить.

– Но вы придете еще раз?

– А какой в этом смысл? – спросил он. – Это слишком похоже на визиты обитателя другой планеты.

– Не думаю, – ответила она и после небольшой паузы добавила: – Вероятно, вы считаете всех нас очень глупыми, не так ли? – Она посмотрела на него. Он поднял брови, он собирался возражать. Но она не позволила ему отделаться одной вежливостью. – Потому, что мы действительно глупы. Невероятно глупы. – Она засмеялась довольно уныло. В ее кругу глупость считалась скорее добродетелью, чем недостатком. Чрезмерно умный человек рисковал уклониться от идеала джентльмена. Быть умным рискованно. Рэмпион заставил ее задуматься над тем, действительно ли на свете ничего нет лучше джентльменского идеала. В его присутствии глупость не казалась ей чем-то завидным.

Рэмпион улыбнулся ей. Ему нравилась ее откровенность. В ней была непосредственность. Ее еще не успели испортить.

– Вы провоцируете меня, – пошутил он, – вызываете меня на непочтительность и грубость по отношению к тем, кто стоит выше меня. На самом деле я совсем не так непочтителен. Люди вашего круга ничуть не глупей всех остальных. По крайней мере от природы они не глупей. Вы – жертвы вашего образа жизни. Вы живете, запрятавшись в свою скорлупу, с шорами на

глазах. От природы черепаха, может быть, не глупее птицы, но вы должны признать, что ее образ жизни не содействует развитию умственных способностей.

В то лето они встречались много раз. Чаще всего они гуляли по вересковым пустошам. «Она похожа на силу природы, – думал он, наблюдая, как она, нагнув голову, шагает навстречу влажному ветру. – Такая энергия, сила, здоровье! Она великолепна». Сам Рэмпион с детства был хрупким и болезненным. Он восторгался природными данными, которыми сам не обладал. Мэри казалась ему норманнской Дианой вересковых пустошей. Он как-то сказал ей это. Compliment пришелся ей по вкусу.

– «Was für ein Atavismus!»¹⁹ Так говорила обо мне моя гувернантка, старая немка. Пожалуй, она была права: я действительно немножко «атавизмус».

Рэмпион расхохотался.

– По-немецки это получается очень смешно. Но по существу в этом нет ничего глупого. «Атавизмус» – вот чем должны быть мы все. «Атавизмусами» по отношению к условиям современной жизни. Разумными дикарями. Зверями, обладающими душой.

Лето было дождливое и холодное. Однажды утром того дня, когда они сговорились встретиться, Мэри получила от него письмо. «Дорогая мисс Фелпхэм, – прочла она (она испытала странное удовольствие, увидев в первый раз его почерк), – я, как идиот, схватил сильную простуду. Может быть, Вы будете более снисходительны, чем я – потому что я невероятно зол на себя, – и простите меня, если я не явлюсь до будущей недели?»

Когда она в следующий раз увидела его, он показался ей похудевшим и бледным и его все еще мучил кашель. Когда она осведомилась о его здоровье, он почти сердито оборвал ее.

– Я совершенно здоров, – резко ответил он и заговорил на другую тему. – Я перечитывал Блейка, – сказал он. И он начал говорить о «Бракосочетании Рая и Ада». – Блейк был истинно цивилизованным человеком, – утверждал Рэмпион. – Цивилизация – это гармония и полнота. У Блейка есть все: разум, чувство, инстинкт, плоть, – и все это развито гармонично. Варварство – это однобокость. Можно быть варваром интеллектуально и телесно. Варваром в отношении чувств или в отношении инстинкта. Христианство сделало варварской нашу душу, а теперь наука делает варварским наш интеллект. Блейк был последний цивилизованный человек.

Он говорил о греках и о нагих загорелых этрусках на стенной росписи гробниц.

– Вы видели их в подлиннике? – сказал он. – Завидую вам.

Мэри стало ужасно стыдно. Она видела расписанные гробницы в Тарквинии; но как мало она запомнила! Они были для нее такими же курьезами, как все те бесчисленные древности, которые она покорно осматривала, когда они с матерью путешествовали в прошлом году по Италии. Она не способна была их оценить. Тогда как если бы *он* имел возможность съездить в Италию...

– Те люди были цивилизованными, – утверждал он, – они умели жить гармонично и полно, всем своим существом. – Он говорил с какой-то страстью, словно он сердился на мир, может быть – на самого себя. – Мы все варвары, – начал он, но приступ кашля прервал его речь.

Мэри ждала, когда припадок кончится. Она чувствовала тревогу и в то же время стеснение и стыд, как бывает, когда застаешь человека врасплох в минуту слабости, которую он обычно старательно скрывает. Она не знала, как ей следует поступить – проявить сочувствие или сделать вид, что она ничего не заметила. Он разрешил ее сомнения тем, что сам заговорил о своем кашле.

– Вот мы с вами говорим о варварстве, – сказал он с жалкой и гневной улыбкой, когда приступ кончился. В его голосе слышалось отвращение. – Что может быть более варварским, чем этот кашель? В цивилизованном обществе такой кашель был бы недопустим.

Мэри заботливо посоветовала ему какое-то средство. Он недовольно усмехнулся.

¹⁹ Что за атавизм! (нем.)

– Вот так всегда говорит моя мать, – сказал он. – В точности. Все женщины одинаковы. Клохчут, как куры над цыплятами.

– Воображаю, что бы с вами случилось, если бы мы не клохтали!

Через несколько дней – с некоторыми опасениями – он повел ее к своей матери. Опасения оказались напрасными: Мэри и миссис Рэмпион понравились друг другу. Миссис Рэмпион была женщина лет пятидесяти, еще красивая; лицо ее выражало спокойное достоинство и покорность судьбе. Она говорила медленно и тихо. Только раз ее манера говорить стала иной: Марк вышел из комнаты приготовить чай, и она заговорила о своем сыне.

– Что вы думаете о нем? – спросила она, наклоняясь к своей гостье; ее глаза неожиданно заблестели.

– Что я думаю о нем? – засмеялась Мэри. – Я не настолько самонадеянна, чтобы судить тех, кто выше меня. Но он, безусловно, незаурядный человек.

Миссис Рэмпион кивнула с довольной улыбкой.

– Да, он незаурядный человек, – повторила она. – Я всегда это говорила. – Ее лицо стало серьезным. – Если бы только он был покрепче! Если б я могла дать ему лучшее воспитание! Он всегда был таким хрупким. Ему нужно было больше заботы; нет, не в этом дело. Я заботилась о нем сколько могла. Ему необходимо было больше комфорта, более здоровый образ жизни. А этого я не могла ему дать. – Она покачала головой. – Вы сами понимаете. – Она с легким вздохом откинулась на спинку стула и, молча сложив руки, опустила глаза.

Мэри ничего не ответила; она не знала, что сказать. Ей снова стало стыдно, тяжело и стыдно.

– Что вы думаете о моей матери? – спросил Рэм-пион, провожая ее домой.

– Мне она понравилась, – ответила Мэри. – Очень. Хотя перед ней я чувствовала себя такой маленькой, ничтожной и скверной. Иными словами, она показалась мне замечательной женщиной, и за это я полюбила ее.

Рэмпион кивнул.

– Она действительно замечательная женщина, – сказал он. – Мужественная, сильная, выносливая. Но слишком покорная.

– А мне как раз это в ней и понравилось.

– Она не смеет быть покорной, – нахмурившись, ответил он. – Не смеет. Человек, проживший такую жизнь, как она, не смеет быть покорным. Он обязан бунтовать. Все эта проклятая религия. Я не говорил вам, что она религиозна?

– Нет, но я сразу догадалась, когда увидела ее, – ответила Мэри.

– Это варварство души. Душа и будущее – больше ничего. Ни настоящего, ни прошлого, ни тела, ни интеллекта. Только душа и будущее, а пока что – покорность судьбе. Можно ли представить себе большее варварство? Она обязана была взбунтоваться.

– Предоставьте ей думать по-своему, – сказала Мэри, – так она счастливей. В вас бунтарства хватит на двоих.

Рэмпион рассмеялся.

– Во мне его хватит на миллионы, – сказал он.

В конце лета Рэмпион вернулся в Шеффилд, а вскоре после этого Фелпхэмы переехали в свой лондонский дом. Первое письмо написала Мэри. Она ждала от него вестей, но он не писал. Конечно, у него не было никаких оснований писать. Но она почему-то рассчитывала, что он напишет, и была огорчена, что письма нет. Неделя проходила за неделей. В конце концов она написала ему сама, спрашивая о названии книги, о которой он как-то раз говорил. Рэмпион ответил; она написала опять, чтобы поблагодарить его, так завязалась переписка.

На Рождество Рэмпион приехал в Лондон. Некоторые из его вещей были напечатаны в газетах, и он вдруг оказался небывало богатым: целых десять фунтов, с которыми он мог делать все, что угодно. К Мэри он пошел только накануне отъезда.

– Почему же вы не дали мне знать раньше? – упрекнула она его, узнав, что он уже несколько дней в Лондоне.

– Мне не хотелось вам навязываться, – ответил он.

– Но вы сами знаете, что я была бы в восторге.

– У вас есть ваши друзья. – «*Богатые* друзья», – говорила его ироническая улыбка.

– А разве вы не мой друг? – спросила она, не обращая внимания на эту улыбку.

– Благодарю вас за любезность.

– Благодарю вас за то, что вы соглашаетесь быть моим другом, – ответила она без всякой аффектации и кокетства.

Он был тронут искренностью ее признания, простотой и естественностью ее чувства. Он, конечно, знал, что нравится ей и вызывает в ней восхищение; но одно дело, когда знаешь, и совсем другое дело, когда тебе об этом говорят.

– В таком случае я жалею, что не написал вам раньше, – сказал он и сейчас же раскаялся в своих словах, потому что они были неискренни. На самом деле он держался вдали от нее вовсе не из страха быть плохо принятым, а из гордости. Он не имел возможности пригласить ее куда-нибудь; он не хотел быть ей обязанным в чем бы то ни было.

Они провели этот день вдвоем и были безрассудно, несоразмерно счастливы.

– Зачем вы не сказали мне раньше? – повторяла она, когда ей настало время уходить. – Я могла бы предупредить, что не поеду на этот скучный вечер.

– Вы получите массу удовольствия, – убеждал он ее: к нему вернулся тот иронический тон, которым он говорил о ней как о представительнице обеспеченного класса. Счастливое выражение сошло с его лица. Он точно рассердился на себя за то, что чувствовал себя таким счастливым в ее обществе. Это было бессмысленно. Какой толк чувствовать себя счастливым, когда стоишь по ту сторону пропасти? – Массу удовольствия, – повторил он с еще большей горечью. – Вкусные кушанья и вина, элегантные люди, остроумная болтовня, а потом театр. Разве это не идеальное времяпрепровождение? – В его тоне слышалось беспощадное презрение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.